

АННА АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Сны в руинах

ЗАПИСКИ НЕНОРМАЛЬНЫХ



...and the head a ward a with a ... about 20 minutes after another plane crashed into the ... from the ... 2000. They ... 20 minutes later, the other ...

'The whole world's ...'

Анна Архангельская

**Сны в руинах. Записки
ненормальных**

«Издательские решения»

Архангельская А.

Сны в руинах. Записки ненормальных / А. Архангельская —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833523-5

Книга посвящена всем потерявшим сыновей, мужей, отцов или братьев...
Всем, кого так или иначе коснулся монстр по имени Война...

ISBN 978-5-44-833523-5

© Архангельская А.
© Издательские решения

Содержание

Часть 1 «Тропа героев»	6
I	6
II	8
III	13
IV	17
V	24
VI	30
VII	34
VIII	38
IX	44
X	53
XI	58
XII	64
XIII	69
XIV	74
XV	79
XVI	82
XVII	88
XVIII	94
XIX	103
Часть 2 «Грааль»	110
I	110
II	114
III	118
IV	125
V	129
Конец ознакомительного фрагмента.	134

Сны в руинах
Записки ненормальных
Анна Архангельская

© Анна Архангельская, 2016

ISBN 978-5-4483-3523-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1 «Тропа героев»

I

Я бежал, виляя и стараясь не натолкнуться на встречных. Чувствовал, как асфальт бьёт в подошвы кроссовок. Запыхавшийся Расти терпеливо топотал где-то позади. Он неплохо бежал, но выносливости ему явно не хватит. Я отвлёкся на эту мысль и чуть не напоролся на какого-то попрошайку. Чудом не впечатавшись лицом в асфальт, я оглянулся – на приличном, но всё же недостаточном для оптимизма расстоянии, пыхтели два копа. Потные, злые и на удивление упорные. По нашим расчётам они должны были отстать ещё минут десять назад. Зря мы их разозлили...

Плохо зная этот район, мы наобум сворачивали в какие-то подворотни, каждый раз рискуя оказаться в тупике. Виляли по закоулкам, а проклятые люди в форме даже не собирались давать нам шанс. Я лопатками чуял их яростное сопение, и возможность схлопотать пулю в спину становилась пугающе реальной. Но сдаваться было не в наших правилах, и мы бежали, отчаянно собирая остатки сил. Страх решётки был сильнее страха самой смерти. С глупой самонадеянностью молодости мы пытались убежать от судьбы. Но на этой дороге мы где-то свернули не туда... Сами не заметили, как выскочили в чужой район.

Я резко остановился. Расти влетел мне в спину и, ещё не успев ничего спросить, сам догадался, в чём дело. Впереди торчали человек двадцать из «бешеных». Как стая, потревоженная в своём логове, они зашевелились. Посмеиваясь такому сюрпризу, заинтересованно и как будто не совсем уверенно, медленно двинулись в нашу сторону. Удача имеет свой лимит, и наш, похоже, был исчерпан. Обессилившие и запыхавшиеся мы стояли на вражеской территории, и выбор у нас был не богат – ножи или наручники.

Я глянул на Расти. Даже для его безрассудства решение было очевидно. Как по команде мы развернулись кругом, не стовариваясь подняли руки. Пугаясь выкриков копов, опасно заглядывая в чёрные дула наставленных нам в лица пушек, осторожно прилегли на землю. Прижимаясь щекой к шершавому, нагретому за день асфальту, я лихорадочно соображал как выпутаться. Вымотанные получасовой гонкой, потные и агрессивные копы шарили по карманам, вышвыривали документы, деньги, нашли мой нож. Но это ничего не значило – обычный раскладной туристический нож, каких много.

– О, смотри, что у нас здесь, – полицейский, «потрошивший» Расти, торжественно поднял револьвер.

Двумя пальцами, словно брезгуя, он держал эту любимую игрушку Расти.

– Думаешь, у наших «героев» есть разрешение на такую вот штучку?

Стражи правопорядка заметно повеселели, и слово «тюрьма» резко и страшно перестало быть абстрактным. Сколько раз я предупреждал Расти, что эта пушка, купленная им в какой-то тёмной, вонючей подворотне, ещё выйдет нам боком. Непонятно, какие «весёлые» дела висели на этом револьвере, и теперь – спасибо Расти, – срок за попытку угона мог запросто трансформироваться во что-то намного более драматичное. Определённо, не мой сегодня день.

Наручники сильно впивались в запястья, а я судорожно искал выход. От угона не отвертеться – это несомненно. Впяют ещё и сопротивление. Ладно. Пушку нашли у Расти, ко мне её не прицепишь, но всё равно хреново. Плюс у нас обоих уже был привод – припомнят. Как ни крути, а посадят. Разница лишь в сроках. Чёрт...

Копы веселились всю дорогу, как будто на заднем сидении – не вчерашний подросток, а как минимум наркобарон. Похоже, поймать нас и было единственным доступным им счастьем. И хоть я ненавидел их в тот момент всей душой, но нечаянно даже как-то посочувство-

вал, что ли. Такая убогая, безрадостная жизнь с ежедневным шансом получить пулю или порцию дробы от какого-нибудь взбесившегося нарика. Галдящий с утра до ночи участок, через который каждый день проходили десятки таких как мы. Фотографии пропавших, разыскиваемых, изуродованные группы, нескончаемые рапорты... Унылое ожидание пенсии с безнадежной мечтой раскрыть что-нибудь грандиозное и неделю «светить» мордой на первых полосах газет. А потом опять и опять, в миллионный раз, вызывая невольное отвращение, нудно пересказывать всем подряд, извращая и приукрашивая, эту героическую историю. И это, если ещё повезёт. Ничего, кроме бравых лозунгов и опасной рутинной ляжки, в их жизни не было. Гадость какая...

Расти шёпотом прервал мои размышления:

– Не дрейфь, Тейлор, прорвёмся. Вегас всё устроит.

Он бодрился, боялся и наглел одновременно.

Вегас... Старше лет на десять нас всех, он был кем-то вроде босса для нашей стихийно собирающейся банды. Поговаривали, что он уже успел отмотать пару сроков за нападения, а может, за что и посерьёзней. Он не подтверждал, но и не опровергал подобные сплетни, и мы вольны были сами додумывать и облагораживать этот его призрачный ореол. А после оставалось только благоговеть и восторгаться плодами собственного ж воображения. Таинственный, хитрый, сильный вожак. В любом случае для всех нас он был авторитетом. Непререкаемым и опасным в гневе. Но богом Вегас не был. Он не мог обратить время вспять. Не мог выложить револьвер из кармана Расти. Не мог заставить меня пройти мимо той машины. И надеяться, что Вегас каким-то чудом вытащит нас из участка, было глупо.

– Ты – придурок. Каким образом?! – я зашипел на Расти, переплавляя свой страх в злость.

– Да ладно тебе, вспомни заварушку у Лойта.

«О, ну конечно! Заварушка у Лойта...»

Расти тогда едва не задохнулся от поклонения Вегасу. Но там всё было намного, намного проще. Мы грабнули мелкую придорожную забегаловку – всё как обычно, никто не пострадал, не считая десятка нервных клеток паренька за кассой. Но именно этот паренёк чуть и не стал большой проблемой. Оказалось, что он хорошо нас запомнил и не поленился с придирчивой дотошностью дать полиции наше описание. Меня и Расти взяли на следующий же день с формулировкой «по подозрению в вооружённом ограблении». При нас ничего не нашли, да и не могли найти. Револьвер Расти отлёживался где-то у Вегаса среди трусов с носками, а я из давнего и очень полезного принципа ни в доме, ни при себе не держал ничего компрометирующего. Кроме подозрений на нас повесить было нечего. Наше слово против слова кассира. Вегас пообщался с этим парнем – уж не знаю, насколько нежно, – но на опознании у того вдруг отшибло память, и никого из нас он не узнал. Расти от восхищения разве что автографы не лез брать у Вегаса, а тот снисходительно принял лавры этакого «крёстного отца», всем видом символизируя лозунг «своих не бросаем».

Только вот сейчас, чтобы нас вытащить, пришлось бы запугать полквартала свидетелей, разгромить целый полицейский участок или разориться на крутого адвоката, который бы умело вылил на судью тонну-полторы слёз и соплей про наше грустное, несчастное детство и жестокое, калечащее таких как мы общество. К сожалению, все эти варианты даже не были вариантами... Мечты, которым никогда не суждено сбыться.

И Расти тоже это понимал. Просто ещё не признавал, что понимает.

II

Уже минут двадцать я прел в комнате для допросов. Душной и серой, даже без знаменитого киношного «зеркала», с которым можно было бы развлечься. Лишь маленькая камера в углу мерно подмигивала красным огоньком, а кто-то по другую сторону стены рассматривал меня в монитор. Так убивалась «готовность к бою» – посидишь в такой «уютной» комнатке часик, и от первичной презрительной самоуверенности не останется и следа. Захочется плакать и умолять о чём-нибудь того, кто придёт допрашивать. Хотя, в сущности, и от него мало что зависит.

Я старался не давать себе думать, чтобы не слабеет от собственной фантазии. Единственное, что можно было сейчас сделать, – спокойно признать очевидное и отбиться от всего, что дополнительно попытаются навесить. А они попытаются, можно не сомневаться. В лучшем случае, месяцев шесть-семь потолкусь в камере. В худшем... про худшее можно было размышлять до бесконечности, пугаясь от обильного разнообразия вариантов. Но я не стал заранее травиться страхом.

Интересно, Расти уже допрашивают? Чертовски неудачно вышло с этим револьвером. И почему он его не выкинул? Теперь из-за этой своей маниакальной тяги ко всему, что стреляет, загремит в тюрьму и ещё неизвестно, с каким «диагнозом».

Наконец-то случилось чудо, и ко мне пришли. Замученный бесноватыми наркоманами и агрессивными подростками полицейский устало уселся напротив. Разложил бумаги, хлебнул вонючий кофе и уставился на меня. Изучающе и силясь понять, чего ожидать, мы смотрели друг на друга. Его нельзя было злить. И я не злил. Ни развязности, ни наглости. Не усмехаться, не разваливаться на стуле, не бояться. Стараясь выглядеть хладнокровным, я блокировал тревогу и раздражение внутри. В моей глупости виноват только я сам. У этих людей свои обязанности, и они их выполняют по мере сил. Жизнь развела нас по разные стороны баррикад, и этого не изменить. По крайней мере, не сейчас...

– Итак, кто тут у нас? – коп привычно порылся в бумагах. – Джейсон Тейлор. Семьи нет, родственников нет, сирота. Один привод. «Подозрение в ограблении...» И надо же, всё так же вместе с Расти Спенсером! Хороша парочка. Тогда выкрутились, но в этот раз, полагаю, вам такое счастье не грозит.

Он с насмешливым вызовом глянул на меня, как будто приглашая принять участие в какой-то занимательной проказе. Но я вызов не принял. Последнее, что мне помогло бы сейчас, так это сорваться в крик и навешать к обвинению ещё пару мелочей, вроде нападения на представителя власти прямо в участке. Нет уж, проделки класса «помоги прокурору» – не мой вид спорта. Я сосредоточился на том, что можно будет сказать, а чего нет.

– Всё верно, – я максимально равнодушно посмотрел на ворох бумаг. Не факт, что все они относились именно ко мне, но обилие их невольно пугало. Копы – народ хитрый, и чёрт их знает, что могли придумать. А я уж точно не был самым умным в их практике.

– Что, вот так просто – «всё верно»? Даже не будешь вопить про адвокатов? – он кольнул меня сарказмом, но, кажется, немного удивился.

Ну что ж, удивление не самый плохой способ запутать противника.

– В кино показывают, что адвокат приходит, когда в чём-то обвиняют. А я обвинений пока не слышал...

Игра в дурака иногда помогала. Но не сегодня. Где-то я, видимо, переиграл.

Он хлопнул рукой по столу, и в зажатом бетоном пространстве это бахнуло как выстрел:

– Не строй из себя придурка, Тейлор. Меня уже тошнит от идиотов вроде тебя.

От насмешки не осталось и следа. Теперь он злился. Всё, накопившееся за день – усталость, втыки начальства, новые и старые мелкие преступления, за раскрытие которых

не дожидаться славы, и эти бесконечные, бесконечные кипы бумаг – всё это он вывалил на меня. Наверное, я был последним «придурком» на сегодня, и ему хотелось домой, спать, к жене, пива, секса... Чего угодно, но уж явно не сидеть здесь со мной и психовать.

– Ещё скажи, что ты всего лишь шёл мимо той машины, дверь случайно оказалась открыта. Ты присел шнурки завязать, а тут проезжающий мимо велосипедист цинично втолкнул тебя внутрь и скрылся в неизвестном направлении.

Я, растопырив глаза, слушал этот вдохновенный поток слов и даже повеселел. Он навалился на стол, пристально и недобро глядя на меня:

– Ну давай, Тейлор. Навешай ещё какой-нибудь лапши на мои многострадальные уши.

Если бы мог, я б так и сделал. Но за ним – целая улица свидетелей с как минимум двумя копами, гонявшими нас по кварталу. Может, я и дурак, но на такую очевидную провокацию не куплюсь.

– Занятная история. Жаль не про меня, – я старательно сдерживал улыбку. – Я-то просто хотел немного прокатиться, вот и полез в ту машину.

Это, конечно, было неправдой – тачка была «заказана», так что выбрали мы её вовсе не для забавных дорожных приключений. Плюс ко всему, собирались прикарманить ещё и содержимое бардачка с магнитолой, но к ним я не успел даже прикоснуться. Так что этого доказать он никак не сможет. Хоть за что-то тем двоим стражам закона можно сказать «спасибо» – налетели весьма вовремя, избавили от лишних грехов.

Похоже, теперь я его действительно удивил. Он помолчал, что-то обдумывая и нервно мотая ручку в пальцах.

– Ладно, допустим... И зачем тебе машина понадобилась? Кому продавать собирался?

Я «виновато» уткнулся взглядом в пол. Сейчас главное не сбиться. Сжавшись душой, тихо, будто раскрывая какую-то позорную тайну, сказал:

– Никому... Девушку хотел впечатлить.

Я вспомнил, как мы с Венецией зажимались в тёмной подсобке, а нас очень не вовремя спугнул учитель математики. Память об этом стыдном моменте всегда помогала мне краснеть в нужное время. Чувствуя, как закипают щёки, я не поднимал глаз, чтобы всё не испортить. Коп усмехнулся, глядя на мои пылающие уши. Я осторожно посмотрел на него. Получилось. Теперь должно быть проще.

– Ладно, – он протянул это «ладно», отмеривая степень доверия, которую готов был мне подарить. – С этим пунктом разобрались. Хорошо.

Он поднялся. И всё? У меня отлегло от сердца. Это оказалось совсем не так ужасно, как представлялось, и абсолютно не трудно.

– О, чуть не забыл, – уже от двери он вдруг развернулся. – Ещё одна ма-а-аленькая проблемка, – он прищурился, и я внутренне дрогнул. – Ювелирный вы грабанули, тоже чтобы девушек повпечатлять? И охранника убили, чтобы крутыми казаться?

Он произнёс это совсем тихо, даже как-то интимно. Но лучше б он меня ударил. Я внутренне выматерился. Чёртов Расти! Плохо. Очень плохо. Вот куда привёл след от револьвера... Этот страх мне не пришлось изображать. Кто-то где-то кого-то подстрелил, и теперь всё это вешали на нас!

Удача, где же ты, когда так нужна?!!

– Это не мы. Клянусь, – дрожа сердцем, я выплеснул ему в глаза всю свою панику. – Мы эту пушку нашли в мусорке, в подворотне... Мы и не стреляли-то ни разу...

Я всей душой умолял его поверить мне, хотя ни слова из сказанного не было правдой.

– Да расслабься ты, – с хорошо разыгранной скукой он откинулся на спинку стула. – Твой дружок уже всё рассказал. Я просто хочу уточнить детали. Такой порядок, знаешь ли...

Я едва справлялся с паникой. Блеф. Грубый, жестокий блеф. Но всё, что у меня было сейчас, это только надежда. Совсем немного, если рассудить здраво. Даже катастрофически

мало. Но я доверял Расти и тщательно уговаривал себя, что он не мог сознаться в том, чего мы не делали. А значит, нужно держаться легенды. Я судорожно выкапывал из памяти детали – неважно, когда бы нас взяли с этой пушкой, говорить, что нашли в среду на прошлой неделе в мусоре на 52-й улице. Взяли по глупости – побаловаться, и даже не стреляли ещё. Всё. Ни больше, ни меньше.

Перемешивая правду с ложью в единую взрывоопасную смесь, заливая всё это отчаянным страхом обвинения в убийстве, я говорил и говорил, силясь достучаться до этого равнодушного от выслуги лет человека. Всё, что я мог сейчас сделать, это попытаться стать для него немного особенным, выйти из серого, однообразного ряда преступников, вечно отрицающих собственную вину, очевидную или не очень. И я старался, как мог, вкладывая в слова всю искренность, на которую был способен... Ужасней заключения было лишь заключение за то, в чём невиновен.

Вошла какая-то девушка и, не глядя в мою сторону, что-то шепнула моему инквизитору. Он кивнул, всё так же не сводя с меня глаз. Девушка дополнила стопку бумаг ещё одной папкой и вышла.

Пожалуй, будь у меня сейчас шанс застрелиться, я бы им воспользовался. Что же в той папке такое? Господи, пронеси...

Коп быстро устал меня слушать.

– Хватит, Тейлор, – он поморщился, как от зубной боли. – Если ты сам не стремишься себе помочь, то я тем более не собираюсь с тобой возиться.

Я послушно замолчал, не зная, чем же могу помочь самому себе. Это было очень страшно – зависеть от настроения, просто желания в чём-то разобраться человека напротив. Это было похоже на расстрел... Десяток смотрящих тебе в грудь прицелов, скрытых в этих бумажках на столе, и один человек, взмах руки которого может легко оборвать твою жизнь.

– Скажи мне правду, и мы оба пойдём отдыхать друг от друга.

Издаваясь, он спокойно покачивался на стуле. Правда уж точно заинтересовала его в последнюю очередь. Я отчаялся.

– Это правда. Револьвер мы нашли в прошлую среду. Никакой ювелирный не грабили и не пытались. Больше не знаю, что сказать.

Я обречённо притих. Видимо, пришла пора злить его требованием телефонного звонка, адвоката, суда по правам человека или ещё какой-нибудь такой же бесполезной ерундой. В кино всё это выглядит так просто...

– Где ты был 28-го августа с семи до девяти вечера?

Алиби. Чудесно было бы, окажись оно у меня. Я напрягся, вылавливая тот день в памяти. 28-е число... Что это был за день? Суббота? Нет, пятница... Чёрт. Тогда я нервничал в машине, пока Вегас с парнями таскали в багажник какие-то подозрительные мешки со склада... Алиби, мягко говоря, так себе получалось. Точнее, вовсе не получалось, разве что надумаю променить обвинение в убийстве на кражу со взломом и сдать к чертям всю шайку. Не вариант.

– Не помню, – соврал я. – С девушкой, наверное, был.

При очень хорошем стечении обстоятельств Венеция возможно и сообразит подтвердить, что я был с ней. Но всё равно, мне это мало чем поможет. В категорию «надёжный свидетель» она абсолютно не вписывалась. И любой прокурор, если конечно он не полный идиот, с удовольствием этим воспользуется.

– Имя девушки, адрес... – коп лениво приготовился записывать.

Я впал в какую-то апатию. Они для себя уже всё решили, и что бы я ни сказал, следующие несколько лет буду жить в мире по ту сторону решётки.

– Венеция Фос...

Коп нервно швырнул ручку на стол.

– Я спросил имя, а не паршивую кличку! – он раздражался всё сильнее. Вероятно, я невольно рушил его планы на этот вечер.

– Это имя! Я не виноват, что её чокнутая мамаша назвала дочь в честь города.

Его раздражение передалось мне. Ведь, если он не верит даже простому, то как ждать, что поверит во что-то большее? Кажется, мой ангел-хранитель где-то заблудился, что-то давно его не видно...

– Венеция Фостер, сейчас живёт у меня, – как можно терпеливей повторял я, следя за кончиком ручки, оставлявшим на бумаге закорючки данных. – Кстати, можно позвонить?

Безнадёжно, но я всё-таки попытался использовать право на звонок...

Коп зло хохотнул:

– Разбежался. Алиби нужно было готовить заранее, – он гнусно ухмыльнулся. – Посиди тут пока, а я, так уж и быть, пойду займу для тебя очередь к телефону.

Дописав номер, он вышел. Я устало положил голову на руки. Венеция, прошу тебя, догадайся сказать всё правильно... Надежда – самая упрямая штука в человеке.

Любопытно, как там Расти? Ему ещё сложнее, револьвер-то у него нашли. Впрочем, тогда на складе его с нами не было, так что его алиби может оказаться не таким мифическим, как моё. Держись, Расти. Только держись. Какой она будет – плата за глупость? Много бы я дал, чтобы не задаваться такими вопросами...

Дверь открылась, оживив духоту относительно свежим воздухом из коридора. Вошла та самая девушка, которая недавно принесла бумаги.

«Слишком молодая... Стажёр?»

Неважно. Я снова вписывался в какие-то полицейские игры. Подсовывают стажёра, да ещё и девушку, чтобы я расслабился, стал считать себя умнее и в итоге ляпнул какую-нибудь непоправимую ерунду.

Заметно и смешно волнуясь, она запуталась в документах. Но сегодня все клоуны мира не смогли бы меня развеселить.

– Я назову вам несколько имён, а вы скажите, если знаете кого-то, – она стремилась выглядеть опытной, но, сознавая собственную неуклюжесть, смущалась ещё больше.

Я молча кивнул. Захотелось даже немного подбодрить её, но я тут же одёрнул себя. Нельзя дать их хитрым схемам сработать. Она прилежно называла имена, фамилии и клички. Но я правда никого из этих людей не знал.

– Слышал про одного бармена по кличке Крыса, но на самом деле его зовут Роберт Финн, а не Кайл... Как там дальше?

Честно я рассказывал, что мог, старательно пытаюсь держаться за ту нить доверия, которая, как мне казалось, невидимо всё-таки связывала нас. Она покивала, подробно записывая мои слова.

– Посмотрите, пожалуйста.

«Какая вежливая», – почти с восхищением подумал я.

Одну за другой она выложила несколько фотографий. Наглые, ухмыляющиеся, злые, небритые на меня смотрели абсолютно незнакомые люди. Я отрицательно помотал головой. Они рассчитывали связать меня с кем-то крупным. Я был их шансом раскрыть что-то гораздо серьёзней, чем угоны и мелкий разбой. Мучая меня, они пытались выйти на кого-то, кто, очевидно, сильно портил им нервы. Но я действительно ничем не мог помочь.

Девушка разочарованно спрятала фотографии. Вернулся мой инквизитор. Я готов был на колени умолять, только бы остаться с вежливой стажёркой, а не вздрагивать от криков этого психованного мужика. Но выбирать не приходилось.

– Ты там звонить собирался своим адвокатам, – коп небрежно сгребал бумажный хаос. – Подъём, чего сидишь? Или передумал?

Я грустно слушал, как Венеция плачет в трубку, устало и терпеливо переживал все эти причитания, которые сводились к одной фразе: «Я так и знала, что ничем хорошим это не кончится». У меня не было сил, чтобы успокаивать ещё и её, и я просто слушал, уткнувшись лбом в прохладную стену. Почему с девушками иногда так сложно? Поддаваясь защитному инстинкту, она словно доказывала мне, себе, какому-то незримому судье, что даже не представляла, что я занимаюсь чем-то незаконным, чем-то, из-за чего мы сейчас на разных концах телефонного провода. Возможно, так и было. Но тогда как, по её мнению, нигде не работая, я мог оплачивать квартиру, в которой жили мы оба?.. В эти потёмки женской души я не пытался проникнуть. Неважно, что она знала или подозревала, но мы никогда не обсуждали мои дела. Некое негласное табу, защищавшее нас обоих. Неписанные правила общения со мной, установленные однажды и навсегда. Было в этом что-то романтично-загадочное. Я просто уходил и не говорил, когда вернусь. И вернусь ли вообще...

Доигрались.

– Во что ты меня втянул, Джейсон? Я так боюсь... – она всхлипывала, судорожно ожидая от меня помощи. Но я даже сам себе не мог помочь.

Мне стало жаль её до боли в сердце. Я не имел права впутывать её в эти грязные, отвратительные игры. Если придётся подтверждать моё алиби в суде, она легко может загреметь за дачу ложных показаний. Как бы я хотел сейчас обнять её, прижать такую привычную и тёплую, уже за одно только желание пойти ради меня на риск. Сам чуть не плача, я старался успокоить её, вселить надежду, которой у меня уже не было. Взял с неё слово, что больше не будет плакать, и она пообещала, хотя мы оба знали, что это очередная ложь, на которую она соглашается ради меня. Время вышло, и мы едва успели попрощаться. Но это было даже хорошо – ещё немного, и я стал бы рыдать в дешёвый галстук ближайшего копа.

III

Процедура снятия отпечатков заметно успокаивала – никто не орал, не задавал вопросов, не всхлипывал в трубку. Я просто смотрел, как на белой поверхности остаются чёрные, изящные, похожие на фрагменты старинных офортов узоры моих пальцев. Нужно было сосредоточиться. Расти держался развязно и демонстративно уверенно. Наглостью он мог умело разозлить любого, а после лишь забавляться, рассматривая результаты своих стараний. Иногда мне казалось, что он как будто питается гневом противника, с удовольствием выматывая нервы, становится только сильнее от чужой ярости. Удивительная, почти мистическая способность...

– Эй, Тейлор, ну как тебе в этом борделе? Запиши адресок, зайдём ещё как-нибудь! – весело заорал он на весь участок и помахал мне чернильными руками. Надсмотрщик, белый от злости, пнул его к выходу.

Отлично. Расти паясничает, а значит, не всё потеряно.

Сами того не зная, мы разыграли выпавшие нам карты очень удачно. Его сразу попытались прижать с револьвером, но не смогли. Целый день 28-го он ругался с пьяным отцом, что прекрасно слышало полдома, а вечером ещё успел попрепираться с полицией, напоследок всё-таки вызванной кем-то из соседей. Каждый час того дня можно было восстановить по минутам. В свидетелях – человек пятьдесят, и, что самое смешное, даже копы.

Ещё непонятно было, улыбнулась нам судьба или всего лишь решила посмеяться, но кое-что, похоже, наладилось. Ничего, мы ещё потрепыхаемся...

Сидя в камере, я оттирал чернила с пальцев и пытался собрать неугомные, рассыпающиеся мысли. У Расти алиби непробиваемое, моё Венеция подтвердила. С убийством и ограблением нас связать если и смогут, то весьма ненадёжно. Всё, что осталось у обвинения – незаконное оружие, попытка угона и сопротивление при аресте. Револьвер, в основном, был заботой Расти, мне же предстояло сосредоточиться на «попытке угона». Впрочем, сосредотачивайся или нет, максимум я уже выжал. Копы в свидетелях здесь были однозначно против меня. Чёрт, знал бы, что не убежим, что так глупо наскочим на врагов, сдался б сразу. А может, надо было бежать до последнего? Всё-таки пробиваться через толпу «бешеных»? При определённой степени удачи могли бы и прорваться. Не стали бы они нас резать при копах... Хотя, какая разница! Порезали б потом. И никакая удача не помогла бы. Не зря ведь их «бешеными» прозвали. На секунду представил себя в реанимации, рыдающую Венецию. Тьфу! Ну его! Жить всю жизнь инвалидом? Лучше отмаху лопатой на исправительных, «оздоровлюсь» за колючей проволокой. Надеюсь, Венеция меня дожждётся. Правда, неизвестно ещё какой срок дадут...

Здесь мне не приходилось себя обманывать, – каждый из нас жил, как хотел. И я не мог придумать для неё причину ждать меня достаточно долго, бездарно и бесполезно тратить свою молодость и красоту, – все эти драгоценности, лишь на время выданные ей природой. Если она до сих пор со мной, то только потому, что сама так пожелала. Изящно и умело лавируя между лаской и дерзостью, она брала то, что я мог и готов был ей предложить, взамен любезно украшая собой моё одиночество. И едва нарушится это хрупкое равновесие, я её потеряю. Я знал это, знал, что никакой болью сердца не смогу удержать её. Даже наше знакомство было насквозь пропитано обоюдной выгодой. Никакой детской романтики. Ей кое-что было нужно от меня, и она согласилась за это платить. Вот и всё. Простая сделка.

Я вспомнил как увидел её...

Выделяясь в нашей обшарпанной, бездомной толпе, эта «домашняя», ухоженная девушка, случайно и наверняка впервые попавшая к нам в приют, безглаголиво и надменно, старательно отстранялась от всех. Будто боялась заразиться чем-то очень паршивым, доказывала насколько ошибочно, вынужденно и временно она здесь. Красивая и гордая она забыла пер-

вый закон любого коллектива: не ставь себя выше стаи, если не настолько силён, чтобы в одиночку выстоять против всех. Пару дней к тебе будут просто присматриваться, вычисляя, что ты такое, насколько опасен и как сильно на тебя можно давить. Именно в первые дни новенькие и совершают свои самые главные ошибки, поддаваясь этому иллюзорному коллективному равнодушию. Воображают, что всем наплевать на них, а значит, и они могут позволить себе ни на кого не обращать внимания. Громадное заблуждение, способное навсегда лишить тебя места в сплочённой и по-своему организованной своре людей, привыкших к необходимости быть вместе. И своим плохо скрываемым презрением, высокомерной красотой Венеция, сама того не зная, выбрала самое невыгодное и рискованное – стала объектом травли.

Особенно ущербные личности тут же возненавидели её за собственную ущербность, за то, что ей повезло родиться и не быть брошенной. Глупо заиклившиеся, они не прощали ей самого, пусть даже формального, наличия семьи. Они просто ненавидели, не давая себе труда подумать, почему же она всё-таки очутилась среди нас, какая катастрофа разрушила её мир и так безжалостно вышвырнула на наши берега.

На третью ночь её постригли. От этого крика невозможно было не вскочить. Её красивые, длинные, тёмные волосы прядями остались лежать на подушке. Испытательный срок закончился. Её провоцировали, показывая зубы, цинично и грубо приглашали бороться за место среди хищников. Или стать их добычей. Никаких правил, законов, контроля. Лишь первобытно схлестнувшиеся коллективные инстинкты.

Как лавина с горы, этот ком воплей и визгов катился по коридору. Кажется, уже уронили что-то хрупкое и звонкое. Любопытствуя и забавляясь, весь корпус сбежался наблюдать за этой редкой потехой. Царапаясь, визжа и лягаясь, со смешно торчащими неровными вихрами Венеция норовила вцепиться в лицо сопернице. Как кошка, яростно и зло пользовалась ногтями, зубами – непредсказуемая, подло-агрессивная женская драка, тем более опасная, что в ней, похоже, совсем не было запрещённых приёмов.

Кто-то уже шуточно принимал ставки. Те, кто ещё вчера взбудоражено вились вокруг нашей новой нимфы, изображая поклонников, заигрывая, втягивая её в эти пусть бессознательные, но оттого не менее жестокие развлечения, сейчас галдели как болельщики, разгоняя скуку тем, что, возможно, калечили чью-то душу. Венеция опрометчиво и неосторожно сама попала в этот капкан ревности и лицемерия. Умело кокетничая, заманивая едва заметным и потому таким восхитительным флиртом всю эту гормонально-активную толпу парней, она не могла не раскалить обстановку. Жертва перепутала себя с хищником. А теперь её жёстко и унижительно ставили на место. И ей в прямом смысле приходилось драться, чтобы выжить в этом зверинце.

Какой-то рыцарь, пунцово-красный от собственного благородства, всё же полез было их разнимать, но его тут же выкинуло из этого шипящего яростью когтистого клубка. Идиот, никогда не суйся в женские разборки – кажущаяся показушной вся эта агрессивная, хаотичная бестолковость на самом деле одна лишь видимость. Женская драка тем и страшна, что живёт по каким-то особым, внутренним, абсолютно непонятым со стороны правилам. И если не готов лишиться глаз, а то и чего поважнее – не лезь.

Заспанные и нервные прибежали несколько «надзирателей». Как в войне двух мелких, почти незаметных держав, толкающихся границами, пока соседи равнодушненько наблюдают, вдруг появляется третья сторона – крупнее, сильнее, важнее каждого из участников конфликта. И от отстранённого бездействия не остаётся и следа – бодро и подленько, один за другим сбегаются бывшие нейтралы под знамёна сильнейшего. Как по сигналу, ещё минуту назад подбадривающие, подначивающие зрители моментально растащили драку, – сработали быстро и чётко как спецназ на генеральском смотре. Никогда не уставал поражаться этой великой силе коллективного разума, какой-то негласной схеме действий, где у каждого своя задача.

Гневная, с расцарапанной щекой, молча и гордо как пленённая королева, Венеция не спускала глаз с противников.

«А она молодец, – невольно отметил я, – не радуется тщеславие врагов слезами слабости».

Взглядом она бросала вызов каждому из нас. На одну только секунду наши глаза встретились. Я никогда не был и не собирался быть её врагом, но и союзника в моём лице она тоже не найдёт. Вечный нейтралитет – основа моего выживания здесь. И я не стану класть своё спокойствие на алтарь её проблем.

... Скажи мне кто-нибудь тогда, что мы будем вместе почти два года, что целый год проживём бок о бок в одной квартире, я бы смеялся до икоты. Не то, чтобы я был не уверен в себе или сильно обделён женским вниманием. Вовсе нет. Настолько нет, что даже сам удивлялся. Но по всем законам природы девушек с семьёй и будущим не мог всерьёз интересоваться такой как я. А простой игрушкой, их временным развлечением я быть не хотел. И потому смотрел на этих гостей из другого, недоступного мне мира лишь с любопытством. Запуганные, задёранные, злые, плачущие, забытые, наглые, скромные, надменные... Все они появлялись в моей жизни очень ненадолго, чтобы вскоре уйти и никогда не вернуться. И я с детства учился подсознательно защищаться от этой неизбежной потери. Мы с ними как будто шли по двум разным дорогам, которые неожиданно и случайно вдруг пересеклись. Но от этой кратковременной близости миров наши пути не становились менее разными. Потому я никогда и никого из них не собирался впускать к себе в душу.

Мог ли я знать тогда, что эта необыкновенная гостья из чужого мира так настойчиво отыщет себе место в моей жизни, затронет что-то долго спавшее в моём сердце?..

Через пару дней после той шумной ночи она вдруг подошла ко мне. С короткими волосами ей было даже лучше – поистине великое женское искусство бить соперниц их же оружием.

– Ты Джейсон?

«На уроках мы сидим через два человека друг от друга, а она даже не знает моего имени», – угрюмо подумал я. Хотя сейчас, изучив её намного лучше, скажу, что, скорее, это был тонкий до извращённости способ потоптаться по моему самолюбию. И если я правильно помню, довольно действенный.

Я буркнул что-то в качестве подтверждения, и она, примостившись напротив, протянула мне сложенный почти до идеального квадрата листочек. Не понимая, чего от меня хотят, я развернул эту записку и чуть не сломал глаза, пытаясь прочесть чертовски сложное и длинное название какой-то медицинской дряни.

– Ну и что это за шарады? Игра «Угробь мозги вон тому парню»? – раздражённо спросил я.

Пожалуй, всё-таки возникла у меня неуловимая надежда на нечто поромантичней, чем название какой-то жуткой наркоты, которая зачем-то ей понадобилась. И, разочаровавшись, я неизбежно злился.

Она серьёзно смотрела мне прямо в глаза:

– Говорят, ты сможешь это достать. Сколько будет стоить?

Замечательно. Кто-то уже любезно рекламирует мои услуги. Надо будет разобраться.

– Нисколько. Можешь взять меня в заложники, потребовать миллион и самолёт, а потом сама купишь себе, что захочешь, – я отбросил бумажку обратно. – И эту хрень «Не-знаю-что-это-такое» тоже. Больше помочь ничем не могу.

Она задумчиво смотрела куда-то мимо меня, старательно что-то соображая. Но любые уговоры тут не помогли бы. Через Расти и Вегаса я мог достать кое-что, если не многое. Но это было что-то вроде услуги для избранных – умеющих молчать и платить. И теперь кого-то слишком болтливому из этого списка придётся вычёркивать.

– Это яд, – вдруг тихо призналась она. – И мне он нужен.

Упрямо она всё ещё пыталась втянуть меня в какие-то свои дикие, безумные авантюры, обольщала, неуловимо обещая взамен что-то таинственное, запретное и восхитительное. Я придвинулся как можно ближе, притянутый её глазами.

– Зайди в туалет в нашем крыле, в унитаза вода наверняка ядовитей этой твоей фигни. А главное, никому ничего не должна – ни мне, ни копам.

Я зло и насмешливо смотрел на неё. Резко, как кошка лапой, она сгребла в кулачок свою записку и, ни слова не сказав, ушла.

...Потом я думал иногда, кого же она хотела этим накормить? Или сама хотела отравиться? Один раз, почти в шутку, я попытался спросить, но она только рассмеялась в ответ. Сказала, что это глупость, что ничего она не замышляла, а всего лишь стремилась со мной сойтись, инфернально и шокирующе увлечь моё любопытство. А я, дурачок, ничего не понял. Как часто она вот так уходила от вопросов, вскармливая лестью моё самомнение, отвлекала меня моим же эго, пряча собственные секреты за ласковой, кокетливой весёлостью...

«Интересно, если обижу её достаточно сильно, меня она тоже захочет отравить?»

Я тут же осадил своё не в меру активное воображение:

«Ух, ну и идеи приходят в голову на тюремной койке. Так и до паранойи недалеко... Не отравит. И не потому, что не сможет – на самом деле чёрт её знает, на что она способна, – а просто я не обижу её настолько сильно. Никогда».

IV

Листая воспоминания, я никак не мог уснуть. Весь этот бешеный, безумный, неудачный день упорно не хотел отпускать моё сознание. За стеной кто-то невменяемо и жалобно выкрикивал во сне, а я лежал, разглядывая потолок. Спрашивал себя, что было бы, знай Венеция тогда, что однажды придётся пугливо отвечать на вопросы полиции, одиноко плакать в пустой квартире, пока тот, кто должен был её защищать, отлёживается за решёткой. И что теперь ей самой придётся защищать и выгораживать меня. Знай она всё это, не выбрала ли б кого-нибудь другого?

Бессмысленные вопросы...

Но всё же... почему тогда она подошла именно ко мне?

Я не был единственным, кто не потел при её приближении, не лез с гнусными намёками. И уж само собой, не был самым грозным. Предпочитая не влезать в конфликты и споры, трусливо избегая любых неприятностей, я всегда держался в стороне. И прощалась мне эта обособленность лишь потому, что я научился быть полезным. Возможно, именно это умение держаться на расстоянии, но не быть изгоем, эта загадочная отстранённость и привлекли её внимание. Она не понимала, почему ей не хотят прощать того, что мне, казалось, давалось так легко. Или сложное название того яда автоматически сделало нас кем-то вроде соратников в так и не состоявшемся заговоре? Не знаю... Всегда предпочитал верить, что просто чем-то понравился...

– Джейсон? Мне нужна твоя помощь.

Почему-то, когда она произносила моё имя, звучало это как на каком-то собеседовании, – вежливо и официально, – но на сердце будто падала ледяная капля.

Я устало посмотрел на неё:

– Мы это уже обсуждали.

– Просто выслушай. Всего лишь небольшая услуга. И я готова заплатить.

«Боже мой, она, кажется, говорит серьёзно! Занятно, и каких это фильмов она насмотрелась?»

Так и веяло нехитрой детективной драмой. Всем этим заламыванием рук, закатыванием глаз, кружевами интриг и дешёвой эстетикой глицериновых слёз.

Я засмеялся:

– У тебя нет ничего, что мне нужно.

Но на этот раз она явно не собиралась сдаваться так же легко.

– Тогда может, будет проще, если ты скажешь, что тебе нужно, – она пристально следила за мной.

– Любви и ласки, – развязно пошутил я, только бы побыстрее отвязаться. – А о чём же ты мечтаешь, радость моя?

Меня начинала забавлять вся эта выпренность, комичная своей неестественной серьёзностью сцена. Но, видимо, её мир и правда рушился, раз она отважилась на унижение снова просить помощи у того, кто уже однажды отказал. Какие-то тихие, подпольные, подлые интриги тлели вокруг неё, и она заметно сдавалась. Одна против всех, сознавая, что долго не продержится. И возможно, лишь во мне она рассчитывала найти сторонника.

– Мне нужно, чтобы все решили, что мы вместе, – она ни капли не смущалась, и очень было похоже, что придумала этот вздор не только что.

Уже не доверяя своим ушам, я уточнил:

– «Вместе»? Это как понимать?

– Спим. Встречаемся. Что мы – пара, – она ошарашивала меня своей прохладной откровенностью всё больше. – Считай это сделкой, деловым соглашением.

«Ого! В какую же сложную паутину она решила меня вплести? Почему даже не попыталась заигрывать, флиртовать? Зачем вот так, напролом? Или и впрямь так срочно требовалось потушить формальными отношениями со мной тот кипящий ревнивой стервозностью пожар женской конкуренции?»

На всякий случай я усмехнулся, – уж очень это смахивало на чей-то недоразвитый розыгрыш.

– Здорово. Иди растрезвонь всем эту чудесную новость.

Если это идиотская шутка, пусть потешатся. Надо будет присмотреться к нашему «зоопарку», а то я начинаю теряться в происходящем. Главное, не дать этому цирку затянуться.

– Надеюсь, ты догадываешься, как должен себя вести? – уже заметно сомневаясь в выборе, она напряжённо меня рассматривала.

Я рассеяно наблюдал за ней, стараясь вспомнить, что могло спровоцировать эту облаву на мою психику. Паранойя была поднята по тревоге, память спешно перебирала события последних дней. *Кто и для чего* решил развлечься, втягивая меня в такие вот оригинальные забавы?

– Конечно, дорогая, – я лучезарно заулыбался как клоун на манеже. – Поцелуй?

Она строго глянула на меня:

– Здесь никого нет, кроме нас двоих, – её начинала удручать моя тупость.

«О, точно! Всё ж на публику».

Я нагло оскалился:

– А порепетировать?

Она унизила меня взглядом, молча втапывая в грязь. Ухмыляясь ей вслед, я был уверен, что навсегда потерял право аудиенции у этой принцессы. Вряд ли теперь она снизойдёт до разговора с таким ничтожеством.

Как же плохо я её знал тогда...

Я улыбнулся в темноту, вспомнив этот давний разговор. Если бы упорство не выскочило тогда так явно, то, пожалуй, я никогда бы и не рассмотрел его в той весёлой, игриво-кокетливой, хитрой Венеции, которую узнал гораздо позже. В этой хрупкой, ласковой, в меру расчётливой девушке скрывалось упрямство почти болезненное, какое-то совершенно невероятное и иногда, казалось, вовсе ненужное. Она добивалась своего, и любой, вставший на её пути и всерьёз мешающий, сам того не зная, рисковал очень сильно. Всего раз, в той самой драке я увидел её чертёнка – изобретательного и мстительного, – и с тех пор никогда не забывал, насколько изощрённо-запутанным может стать её путь к цели.

«Её, должно быть, и тюрьма бы не испугала. Не то, что меня...» – как-то странно, изумляясь самому факту этой мысли, предположил я.

Рассматривая полосатую тень решётки, я думал, что всё-таки никак не ожидал, что она так храбро свяжется с ложным алиби, рискнёт, возможно, собственным благополучием. И самое забавное, что попроси я её о таком впрямую и заранее, то, скорее всего, получил бы лишь саркастический смех в лицо.

Почему же она вдруг решила так приятно меня удивить?

За всё время нашего знакомства я мог вспомнить только один такой же случай... Той ночью...

Я вдруг проснулся от непривычного ощущения присутствия кого-то рядом. Венеция.

– Не бойся, – шепнула она.

«Не бойся»? Зачем она это сказала? Чего я должен бояться? Теперь мне и вправду стало тревожно. Это как услышать: «Не смотри вниз», – тут же, даже не успев сообразить, именно вниз и глянешь. Такие фразы как специально выдумывают...

Ловкими пальцами она шарила по одежде, быстро что-то расстёгивала, торопливо, будто за ней кто-то гнался. В темноте я молча перехватывал её руки, мешал как мог, стараясь не разбудить соседей. Но она даже не пыталась остановиться. Наверное, со стороны мы выглядели смешно – сопящие, возились как хомяки в опилках. Но и эта мгновенная потешная мысль не смогла меня усмирить. Было в этом моменте, в самой Венеции что-то такое... Словами не объяснить. Только вот моё тело вдруг стало моим же противником в этой страстной борьбе. Теряя последний контроль, я чувствовал, как смешивается наше судорожное дыхание, сплетаются руки... Трепыхание незнакомого сердца так близко к моему. Фатально, невозможно близко...

Она целовала, нашёптывала, укрощала, уводила душу за собой в таинственные, чарующие дебри влечения. Кто научил её этим неуловимым касаниям, этой гибкой, кошачьей грации? Я тонул в её мерцающих искушением глазах, покорно сдавался. Приставь она нож к моему сердцу в этот момент, и я, ни секунды не колеблясь, согласился бы принять такую восхитительную смерть. Рассудок, захлебнувшийся гормонами – всей этой фантастической смесью ласки, страсти, восторга, – блаженно отвернулся от реальности. Потрясающий миг принадлежности кому-то другому, самый изысканный вид добровольного рабства... Всё, что осталось – это ощущение тёплого, чуткого, чужого тела в руках. Не давая опомниться, оно захватило и понесло в какую-то мягкую, нежную, завораживающую глубину...

Интересно, есть ли в мире сила, способная остановить желания молодости, контролировать эти паразитические первозданные порывы, когда разум становится лишним?..

Оглушённый всем, что произошло, будто внезапно свалившийся в канаву после долгого бега, и теперь лежащий в этой самой канаве, едва соображающий, пытающийся понять, как вообще тут очутился и зачем, я с трудом собирал себя в единое целое. Венеция ловко перескочила через меня, молча и проворно одевалась – как при эвакуации, лишь необходимое. Схватила ворох оставшегося и, прижимая его как детей при пожаре, выскочила за дверь. Я слушал удаляющееся шлёпанье босых ног и пытался реанимировать сознание. Лениво и нехотя я снова начинал мыслить.

«Что это было такое?.. Хотя, какая разница. Это было... здорово!»

Расслабленно глядя, как медленно сереет тьма, как рассвет разъедает ночь за окном, слушал стук своего сердца и ни о чём не думал... То есть вообще ни о чём, как возможно только от громадной усталости или бурного, страстного секса. Настойчивые, лениво-нежные лапы утреннего сна незаметно обнимали меня, любя утаскивали в тёплый плен темноты...

Венеция...

Из всех она единственная умела удивлять, восхищать, шокировать, беззастенчиво бросая в мою жизнь – агрессивно и изобретательно – свои сюрпризы. Как избалованный ребёнок на карнавале, она швыряла мне под ноги что-нибудь гремящее, сверкающее и веселясь забавлялась, смеялась моему радостно-испуганному удивлению. Жизнь с ней никогда бы не стала скучной...

Едва не проспав занятия, я вскочил, заранее паникуя уже от самого предчувствия чего-то рокового, страшной своей неотвратимостью ошибки, которую я то ли уже совершил, то ли непременно совершу. И что бы я теперь ни делал, как бы ни метался – этого не изменить. Ещё час назад я должен был встретиться с Расти, разобраться с поручениями и уже вернуться к началу уроков. О планах на утро придётся забыть – всё как-то внезапно и неизбежно стало разваливаться на куски. Как назло мистер Ли – наш историк – торчал в коридоре, самолично загоня всех в класс.

– Тейлор, опять опаздываешь, – он прицельно прищурил свои и без того узкие глаза.

Не знаю почему, но с ним мне всегда было сложнее всего. Может, его закалённая веками лицемерия и коварства азиатская кровь чуяла во мне нечто большее – сложнее и увлекательней, – нечто, что я не желал предъявлять миру, храня для собственной выгоды. За ширмой дурашливого, недалёкого, вынужденно вежливого парня он отлично видел меня настоящего. И как будто не прошал мне этих игр в прятки. Выбора не было. Вся моя хитрость утонула в его безжалостно-пристальных, точно прорезанных в черепе глазах. Я обречённо прошёл на место.

Венеция даже не посмотрела в мою сторону, словно и не было этой ночи. Равнодушная, брезгливо-презрительная как обычно... Моё холёное самолюбие дало ошутимую трещину. В какие игры она со мной играет? Я оглянулся, затылком чувствуя её взгляд, но она умело улизнула глазами от моих.

«Ну и ладно, сердечные раны будем бинтовать позже».

Сама того не зная, своим ночным визитом Венеция серьёзно усложнила мне жизнь. И сейчас я, отчаянно нервничая, пытался найти способ сбежать с урока. Нельзя было подвести Расти. За ним стояли Вегас, сделки, деньги и много всего, о чём я тогда ещё не подозревал. У меня было своё – отвоёванное, выстраданное – место в этой шайке, своя работа. И не выполнить её, наплевать было опасно. И невыгодно. Ли распинался, рассказывая что-то про Третий Рейх, но я ни слова не слышал, занятый своими нервными мыслями. Приходилось выбирать – или проблемы с Расти и Вегасом, или мистер Ли с дирекцией. Будут вколачивать в мозги правила, корить и воспитывать. Пускай. Это противно, нудно, испортит много нервов, но уж точно не опасно.

Решившись, я вскинул руку:

– Могу я выйти?

Ли ошпарил меня ледяным взглядом. Никогда не мог понять, за что же именно он так меня невзлюбил. Созданные на противоположных точках планеты наши ауры никак не хотели мирно сосуществовать.

– В чём дело, Тейлор? Заболел?

– Да. Меня тошнит, – нагло и двусмысленно ответил я.

Его глаза сжались в две тонкие тёмные полоски. Невозможно было определить, сколько мутной ненависти ко мне только что добавилось плескаться в его душе. Но не отпустить меня он не мог. Проскочив мимо Венеции, – пусть думает, что из-за неё я разволновался, так даже интересней, – я выскочил в коридор. Ли, конечно, проверит, но я не собирался тратить время на медпункт – всё равно минимум час моего отсутствия не скрыть пятью минутами симулирования. Уже ни на кого не обращая внимания, я нёсся, перескакивая через ступеньки, почти не рассчитывая, что Расти ещё дожидается в условленном месте. Но он был там. Нервно ходил из стороны в сторону и орал на кого-то в телефон.

– Неужели чудеса всё-таки случаются?! – он, агрессивно насупясь, ждал моих объяснений.

– Прости, никак не мог вырваться, – задыхаясь, я виновато смотрел на него.

Благоразумно умалчивая про Венецию, пытался выкрутиться, на ходу сочиняя подробности несуществующих проблем. Взмыленный, никак не мог отдышаться. Расти внимательно слушал мои оправдания, видимо, размышляя можно ли им доверять.

– Ладно, потом разберёмся. Времени нет, так что разделимся. Сейчас дуй по этому адресу, – он протянул мне обгрызенную бумажку. – И чтоб через полчаса был тут, ясно?

Он угрожающе заглянул мне в глаза. Я кивнул, прекрасно понимая, как сильно он рискует, отправляя непроверенного новичка одного. Не хотелось даже представлять, что сделает с ним Вегас, если я вдруг передумаю быть у них на побегушках, да в придачу прихвачу с собой что-нибудь ценное.

Я мельком глянул в каракули на листке. Чтобы успеть за полчаса придётся бежать без отдыха. У Расти адрес наверняка был поближе, но сейчас не до капризов. Сам виноват...

Я выжимал из своей выносливости всё, что мог. Налетая на прохожих, рискуя попасть под машину, я бежал, зная, что только так смогу реабилитироваться. Загнав себя как лошадь, падая с ног, раздирая замученные лёгкие судорожными, болезненными вдохами, я всё-таки успел в срок. Напряжённо сипя, протянул Расти добытый конверт. Он усмехнулся, давая мне передохнуть. Похоже, его маленький экзамен я выдержал.

– Чего так долго? – Вегас был заметно не в духе.

Расти удивлённо пожал плечами:

– Ты не говорил, что надо срочно. Мы и не спешили.

– Проблемы? – больше для порядка, чем всерьёз что-либо подозревая, буркнул Вегас, думая о чём-то своём.

Я застыл, искоса поглядывая на Расти.

– Никаких. Откуда проблемы? Мы даже не убили никого, – скучающе пошутил он, приваливаясь к стене.

– Рад за вас, – Вегас знаком подозвал его к себе, а мне махнул головой. – Малышня, иди погуляй за дверью.

Я послушно вышел. Любопытно, почему Расти меня прикрыл? И будут ли теперь у него проблемы из-за этого моего опоздания? Никогда раньше я не подводил его, а потому сейчас не знал, чего можно ожидать. Это одновременно пугало и интриговало.

Я не успел развить своё воображение, как Расти грубо и жёстко впечатал меня в стенку. Я сморгнул, мысленно прощаясь с зубами.

– Видишь это? – он помахал парой бумажек у меня перед носом. – Твоя доля, и про неё сегодня можешь забыть, – деньги перекечевали к нему в карман. – Считаю это штрафом за тупость.

Я усердно закивал, малодушно радуясь, что не схлопотал по лицу. Расти потоптался, свирепо глядя на меня и что-то обдумывая.

– Это, – он ощутимо ткнул мне в живот маленьким свёртком, – отнесёшь вечером по тому же адресу. Не потеряй.

Я снова покорно кивнул.

– И смотри, Тейлор, – он слегка усилил хватку. – Я поручился перед Вегасом, что тебе можно доверять. Так что не вздумай...

– Я всё понял, – тихо и серьёзно сказал я, открыто глядя ему в глаза.

– Надеюсь, – он наконец-то меня отпустил. – А то и под землёй найду, выкопаю, зарежу и снова закопаю.

Я машинально усмехнулся – интересно было бы такое увидеть.

– Не зарежешь. Вегас – может быть, а ты нет.

Он зло засопел, но я не дал его гневу разгореться.

– Вот был бы у тебя пистолет – застрелил бы. А нож... это грязно, побрезгуешь.

Он как-то странно замер, уставился на меня, словно шёл в темноте, не ждал никого встретить, а тут я на пути... Я лишь успел подумать, что зря пререкаюсь, что всё-таки заработаю по зубам, но он вдруг засмеялся.

– Наглеешь, Тейлор. Но ты наблюдательный, что есть, то есть. И не болтливый, что особенно важно, – он внимательно осмотрел меня с ног до головы, как будто узнавая заново, разглядев что-то новое, чего раньше не замечал. – Ладно, вали в свой приют и смотри, чтоб на цепь не посадили. Хоть решётку грызи, хоть подкоп ложкой рой – «посылку» нужно доставить сегодня.

Я бодро кивнул. Из моего «куратора» Расти, кажется, превращался в приятеля. И это очень вдохновляло. «Карьерный рост», чёрт побери.

Ли уже поджидал меня. Грубо, как арестанта, поволол к начальству.

«Надеюсь, из-за всего этого у тебя будут проблемы», – зло пожелал я ему, не прощая этого гнусного наслаждения властью.

Часа три меня долбили вопросами, проверяли, обыскивали. Но ничего не добились и не нашли – вдохновлённый какой-то пиратской интуицией я спрятал свёрток в нише под стеной сразу, как только вернулся. И теперь оставалось лишь скучающе переждать этот воспитательный балаган. Отсюда часто сбегали, и ни для кого не было секретом, что каждый из нас мечтает перевалить через заветную цифру возраста и навсегда уйти за двери этого казённого заведения, упорно и бесполезно пытающегося заменить нам семью.

Наконец они устали повторять в сотый раз заученные и бездушные речи про то, как я негуманно их всех напугал, и, с напутствием больше так не делать, выпустили на свободу. Не давая Ли шанса найти меня с какой-нибудь пакостной мстостью, я рванул за своим кладом.

Ужас ледяными когтями процарапал вдоль позвоночника, – рука шарилась в нише и ничего не находила. Пусто. Но я не мог ошибиться, это именно то место...

– Что-то потерял?

Я резко оглянулся, почти не дав себе времени узнать этот насмешливый голос. Беспочвенно рассматривая меня, Венеция вертела в руках «посылку». И только глянув мне в глаза, сообразила, что задела нечто очень опасное, чего никогда бы не тронула сознательно.

– Прости-прости, – быстро пролепетала она. – Вот, возьми...

Я выхватил у неё из рук чуть не ставший моим инфарктом свёрток, бегло осмотрел – всё цело, она его не вскрывала. Хоть в этом повезло. Всё-таки улица отлично учит укрощать любопытство. Даже неизлечимое женское. Я посмотрел на неё, и она поперхнулась своими извинениями. Никогда – ни раньше, ни потом – я не был так близок к тому, чтобы ударить девушку. И Венеция хорошо разглядела эту опасность. Осторожно притихшая, боясь раздражить моё бешенство ещё больше, вся будто сжавшись, как зайчонок перед хищником, она тревожно выжидала. Взглядом высказав всё то нецензурное, безобразно-грубое, что про неё думаю, я молча развернулся. Доставить «посылку», доложить Расти и Вегасу о выполнении – мне было, чем заняться. С этой дурой пообщаюсь позже, когда успокоюсь. Боже, и когда я успел стать таким нервным? Зачем судьба натолкнула меня на эту ненормальную?

Сжимая свёрток в кармане, боясь хоть на секунду оторвать от него руку, чтобы не дать карме выкинуть ещё какую-нибудь шутку с моими задёрганными за сегодня нервами, я шёл в ту пьяно галдящую квартиру. Какая-то полуголая девка открыла дверь и тут же ушла, не утруждая свой атрофированный от всякой химической дряни мозг лишними вопросами. Я вошёл в туман пропитанного потом и скотством воздуха. В дыму, щипавшем глаза, нашёл хозяина, вручил ему «посылку». Он внимательно осмотрел содержимое и перевёл взгляд на меня.

– Новенький? Что-то раньше тебя не видел.

Видел, не видел. Какая разница? Можно подумать, я пришёл просить руки его дочери.

– Значит, до этого дня везло нам обоим. Плати, и я избавлю тебя от своего присутствия, – я мечтал поскорее выйти на свежий воздух. Но с мечтами сегодня как-то не ладилось...

Толстяк изумлённо округлил глаза, как будто я сказал какую-то невероятную глупость, да ещё и на незнакомом ему языке.

– Платить?! – он возмущённо запыхтел. – Я всё утром заплатил, так что давай, топай отсюда, пока я добрый.

Я не пошевелился. Мы оба прекрасно знали, как работает эта схема. Предоплата – товар – остаток. Стало абсолютно очевидно, что Вегас меня испытывает, и этот жирный клоун явно

выполняет его инструкции. Не удивлюсь, если Расти сейчас сопит где-то за стенкой, напряжённо прислушиваясь, контролирует мою преданность общему делу.

Я устало вздохнул:

– Тебе в каком порядке разборки подавать – сначала я, потом Вегас или сразу к Вегасу?

Это было лишь экзаменом, не более, а потому не страшно немного и перегнуть с угрозами. Я всё ещё был «новеньким», непроверенным и потому ненадёжным. И само собой, Вегас не стал рисковать чем-то серьёзным. Я мог бы сразу догадаться, что вся эта комедия – тест на устойчивость или что-то похожее. Пустышка вместо товара, иллюзия подаренного доверия... Довольно бесхитростная щекотка по нервам. Вот только этот день мне и так их погрыз прилично. И почему моим экзаменатором оказался этот омерзительный мужик, а не симпатичная нимфоманка, например?

– Ну-ну, притормози. Какой-то ты неадекватный, – он поднял потные ладони, шутиливо сдаваясь в плен. – Можем ведь договориться. Все люди – братья, ну и всякая такая муть. Не согласен? – он хитро подмигнул. – Давай по-хорошему? Я тебе порошка доз на пять, а ты Вегасу скажешь, что меня не застал.

«Умная мысль, и как она мне, дураку, самому в голову не пришла?» – съязвил я, на мгновение опешив от такой грубой подделки в качестве провокации. От Вегаса можно было бы ожидать чего-нибудь позамысловатей. Или он совсем меня недоумком считает? Даже обидно как-то...

Со злости я пнул ножку стола так, что пепельница, подскочив, растрепала окурки по полу.

– Деньги. Все. Сейчас.

Проверки там или нет, но мне уже осточертел этот день, эта вонь, дым...

Кто-то сзади вяло обнял меня за шею, и на секунду я малодушно дрогнул. Та самая девица, что открыла дверь, расслабленно улыбаясь, смотрела сквозь меня пустыми, как у дохлой русалки, глазами. И почему в каждом, пусть самом мелком притоне, обязательно найдётся какая-нибудь такая же взъерошенная и как-то особенно романтично настроенная барышня? Я раздражённо стряхнул её руки с плеч, и она аккуратно прилегла на полу. Что-то напевая, стала осторожно пинать мои ботинки босыми ступнями. Я отодвинулся, трепетно сохраняя остатки нервов. Но девице этот вариант не подошёл, и она, протянувшись в полный рост, снова принялась измываться над моими ногами. Тихо зверея, я посмотрел на хозяина этого чистилища в миниатюре. Наслаждаясь зрелищем, он выдохнул мне в лицо дымное облако, дразня моё отвращение и упиваясь цинизмом всего происходящего. Но в этом воздухе уже ничто не было страшно.

– Деньги. Быстро, – зло и настойчиво повторил я.

Он немного подумал, затягивая петлю ярости на моём горле, и издевательски медленно, по одной, выложил на стол несколько купюр.

– Захочешь ещё поболтать, зови, – я перешагнул через «русалку» на полу и сбежал наконец-то из этого дымного, отвратительного мирка.

V

Уже в темноте я подходил к нашему корпусу, тепло светившему окнами. Всё-таки мне здесь нравилось – определённо, безопаснее и комфортнее, чем за закрытыми дверями в некоторых семьях. Даже перекошило от мысли, что судьба могла глумливо засунуть меня в какой-нибудь такой вонючий притон с этими ползающими, выедающими собственные мозги существами, лишь внешне похожими на людей. Что я сам мог стать одним из них. Быть может, мои родители, кем бы они ни были, оказали мне огромную, неоценимую услугу, бросив сразу после рождения. Кто знает, от какой доли они меня избавили...

Поразительно, но мистер Ли нигде не мелькал. Устал со мной нянчиться? Хотя, скорее, просто не представлял, что после всего этого дневного воспитательного процесса я решусь на наглость двойного побега в один день.

«Люблю удивлять», – самодовольно ухмыляясь в темноту, подумал я.

Этот нелепый, хаотичный день заканчивался парадоксально хорошо. Я выдержал пару проверок, повысил свой статус в шайке, и похоже, Расти, – а может, и Вегас тоже, – стал мне доверять. Возможно, не получись это утро таким сумбурным, я всё ещё прилежно носился бы с мелкими, скучными поручениями, выполнить которые способен любой сопляк. Теперь же из «принеси-подай» я превратился в напарника Расти. Результативный денёк выдался...

Венеция поднялась мне навстречу. Стоя ровно на том же месте, будто никуда и не уходила, ждала, когда подойду. Я даже обалдел от этой какой-то собачьей преданности и совсем забыл, что собирался ей высказать.

– Я уже замёрзла! Где ты был?! – сердито она вдруг накинулась на меня.

Ничего себе претензии! Она, кажется, действительно решила манипулировать мной и всерьёз полагала, что секса для этого вполне достаточно.

– Не твоё дело, – отрезал я, моментально разозлившись.

«Этот день когда-нибудь закончится?!»

Она готова была выцарапать мне глаза:

– Не моё?! Мы заключили сделку, а потом ты исчезаешь на целый день, и я даже не знаю, когда вернёшься! – всего на миг мне вдруг показалось, что она сорвётся в слёзы – злые, гневные.

«Только бы не истерика», – успел взмолиться я. Но она уже взяла себя в руки и грозно смотрела мне в глаза, требуя ответов.

«Сделка? Ну конечно...»

Вот чем была эта ночь. Аванс. Чёртов аванс... Любовь ловко подменила страстью и ласка в чистом виде – не придерёшься, именно та «плата», которую я «попросил». Лихо она разыграла эти карты. Теперь мне придётся вляпаться в её игры или пойти на сделку с собственной совестью, превратившись в полную скотину. А совесть у меня была и, несмотря ни на что, очень агрессивная. От неё не отмашешься фразочкой «это была шутка, и я не виноват, что Венеция этого не поняла». Или сделала вид, что не поняла.

«Что ж, не будем скатываться в неприглядные объятия подлости. Аванс взят. Значит, придётся отрабатывать».

Я вздохнул:

– М-да... сделка. Ну и каков план?

Её тёмные волосы резко выделялись на фоне бледной стены. Наклонив голову, она молчала. Вероятно, плана не было.

«Что, Венеция, все силы и фантазию потратила на капканы для меня? Как неосмотрительно», – иронично подумал я.

– Через пять минут приходи к нам, поцелуешь меня...

Она это серьёзно? Я весело рассмеялся, невольно оскорбляя её этим смехом. Её мир настойчиво и злопамятно калечили, а я смеялся. И может, оттого, что смеялся весело, а не зло как остальные, это было ещё обидней. По искрам в её глазах я всё угадал и быстро перехватил руку, не давая ударить. Почему девушки так любят эти театральные шлепки по лицу? Это же почти не больно. Иногда унижительно, но и только... Видно, именно ради сомнительного унижения, степень которого вряд ли возможно рассчитать заранее, они и отбивают ладони об наши щёки.

Справившись с весельем, я объяснил:

– Каждая девчонка в этом приюте или знает, или догадывается, что за десятку я чмокну любую.

Это я, конечно, приврал – не за десятку и не любую, может, ещё и сам приплачу. Но суть она уловила.

– А что ты предлагаешь?

Вот тут-то, неожиданно для меня самого, и развернулась в моей душе вся та авантюрная сокровищница, максимально скрытая от посторонних. Порой я сам пугался этой непредсказуемой, неисчерпаемой изобретательности. Пугался и гордился одновременно, зная, насколько бережно храню своё тихое коварство, насколько необходимым считаю лелеять хладнокровный цинизм хитрости. Мои личные законы выживания в человеческих джунглях.

Голова к голове, как на экстренных деловых переговорах, мы обсуждали стратегию этой странной, непривычной для меня авантюры на двоих. Не хватало огромного стола и окна с видом на небоскрёбы, а так – хоть кино снимай. Я вкратце изложил идею: начинать, однозначно, со сплетен; никаких явных демонстраций – в такую туфту никто не поверит. Будем прятаться, как Монтекки от Капулетти, краснеть и всё отрицать, как контрразведчики. Если всё сделаем правильно, через пару дней слух расползётся по ушам, и нам «придётся» признать, что мы встречаемся.

На словах всё просто, но здесь была одинаково важна игра обоих. Приютских сложно обмануть. Какая-то природная, дотошная чуткость к фальши с рождения сидела в каждом, кто никогда не знал своей семьи. Как зверьки, мы умело вынюхивали притворство, и любая промашка могла с лёгкостью разрушить всё предприятие. В себе я не сомневался – годы тренинга в ношении масок не подведут. Но вот Венеция... Ну да это её идея, её жизнь. Если она всё испортит, придётся искать другие способы. Так или иначе, победу или поражение я одинаково действительно скормлю своей совести.

А можно пойти ещё дальше... Какой-то бойкий, непоседливый бесёнок всё же не удержался и вбросил мне эту мысль в голову. Что если... Весь этот нескладный, неуклюжий день будто создан был для успехов. Так почему бы не разыграть ещё одну схему? Ведь глупо оставаться мальчиком на побегушках в приюте, если даже у Вегаса меня вычеркнули из этих списков. Давно пора переходить на новый уровень...

Венеция сосредоточенно кивала, запоминала детали, воображая, что вся эта затея – её, для неё и касается только её. Но в этом спектакле я поведу основную партию. Использую Венецию, пока она будет думать, что использует меня. И в отличие от её войны, моя не будет проиграна в любом из вариантов.

– Прежде чем двинемся на баррикады, один вопрос, – моё любопытство всё же пересилило усталость. – Зачем тебе это? Такой сложный путь. Могла бы на время пойти в приёмную семью, пока с твоей не утрясётся. Да и сейчас ещё не поздно.

Она внимательно посмотрела на меня, и я почти физически почувствовал в ней эту внутреннюю борьбу – доверчивость исповеди и высокомерие молчания. Я уже готов был забрать обратно свой вопрос, – ведь с какой стати ей мне доверять? – как вдруг она решилась.

– Меня не возьмут. Мама в клинике как раз на месяц. И всё равно я не пойду в какую-то чужую семью! У меня своя есть, и я не собираюсь становиться какой-то там...

Она резко осеклась, слишком поздно понимая, что наговорила лишнего. Без сомнения, у этой девочки был талант плодить врагов.

– «Какой-то там» кем? – не отпуская её взгляд, я сурово смотрел ей в глаза. – Ну, договаривай.

Очень уж хотелось узнать, кем же она считает меня и таких, как я.

– Сиротой... жить в чужом доме, – тихо, извиняясь, она теперь тщательно подбирала слова. – Прости, я забыла, что у тебя семьи нет. Я правда не хотела обидеть, – кажется, это было честно. – Просто ты не представляешь, каково мне тут. Дома меня никто никогда ни разу не ударил, а тут я даже спать боюсь. Сыплют всякую мерзость в постель, тараканов за шиворот бросили. Я как в тюрьме дни считаю... – она умоляюще посмотрела на меня. – Помогите мне, пожалуйста.

Эта пронзительная, неожиданная именно в ней, трогательная искренность, пожалуй, заслуживала прощения. И да, я действительно не представлял, как живётся здесь без друзей, с клеймом изгоя. Тем более в том подлом, жестоком женском мире, где драки коварны, а упавшего и уже униженного врага всё равно будут беспощадно добивать и калечить. Я всегда был здесь «своим» – автоматическое звание, выданное при рождении. И эта негласная бирка защищала меня от многого. Венеция, неосторожно разворошившая какой-то особый, полный ревности и зависти муравейник, не желающая смиряться, упрямой стойкостью ещё больше злившая врагов, теперь надеялась, что я каким-то чудом найду некий значок неприкосновенности и вручу его ей. Очень наивно. Она попала в наш мир и пыталась жить в нём по правилам своего...

Устав усердствовать в извинениях, она отчаянно смотрела на меня. Я не стал больше её мучить:

– Помогу.

Не успев насладиться собственным великодушием, я вдруг оказался в её объятиях, оторопело заглянул в сияющие благодарностью глаза. И она тут же сама застеснялась этой своей порывистости. Вообще, если вспомнить, в Венеции все чувства были как будто сильнее, виднее, активней что ли, чем у большинства. Радость, восторг, злость, ревность, гнев, любовь, ненависть, гордыня – всё это словно было дано с избытком её душе, словно вовсе не знало меры. Может, такой и должна быть *нормальная* человеческая душа? Радоваться до крика, злиться до мести, ненавидеть до греха...

«Эх, – с опозданием подумал я, – а ведь можно было сообразить прибавить к ночному авансу ещё какую-нибудь приятную мелочь».

– Ладно-ладно, – я спрятал смущение за развязностью. – Только эту речь про сироток и тому подобное забудь и не вспоминай. А то, веришь или нет, но я, может, единственный, кто после такого тебя не возненавидит. Немногим здесь всерьёз, а не напоказ плевать на все эти семейные ценности, – я косо глянул на неё. – Надеюсь, я первый, с кем ты так разоткровенничалась? А то очень не хочется лишиться зубов за «встречание» с тобой.

Она помотала головой:

– Я вообще тут ни с кем не говорю. Ни о чём, – снова строгая, собранная она была похожа на бойца перед важным сражением.

...Я шёл рядом и пытался вспомнить тот момент, когда вдруг перестал верить в циничную сказку, так жестоко придуманную взрослыми. Про родителей, семью, дом, братьев-сестёр. Про мнимую возможность силой воли взять у судьбы то, что она не пожелала дать с самого начала. Когда же я перестал бороться? Когда забил в себе эту иссушающую душу способность лепить из грёз воздушные замки? Ведь наверняка маленьким я доверчиво тянул руки к этой мечте, надеясь, что вот именно эти люди и принесли её с собой.

Слышал, что в детстве меня чуть было не усыновили – по-настоящему, навсегда. Я очень смутно помнил ту семью... В доме было полно игрушек и солнечного света. И кажется, была собака... Нигде больше я не жил так долго – лет до пяти.

А потом что-то случилось...

Было много людей, машин, и красно-синие блики мигалок мазали по стене дома, по взволнованным, испуганным, любопытствующим лицам. Собака с лаем прыгала вокруг чужой, незнакомой женщины, державшей меня на руках... Я не плакал. Я просто не понял, – да и сейчас не знал, – что произошло с той первой моей семьёй. Осмыслил я эту картинку гораздо позже, и видимо, потому мне не было больно. А может, я просто родился без какой-то части души, и именно из-за этого «дефекта» был брошен? Кто теперь разберёт... Лаяла собака, сверкали огоньки на машинах, а природа хранила моё сердце от надрывающей боли потери.

Думаю, именно тогда, с детским бесхитростным любопытством разглядывая весь этот яркий, шумный, суетливый спектакль, пока машина увозила меня в приют, я и осознал впервые, что всё это – игрушки, собака, солнце сквозь занавески – всё это не моё. И моим не будет. За неполные семнадцать лет я сменил восемь семей, не считая той, первой, нигде не задерживаясь слишком долго, не позволяя себе привыкнуть. Наверное, очень уж рано я усвоил, что родными ни я им, ни они мне никогда не станут. Даже если усыновят и будут обращаться как с родным. Кого-то такая видимость устраивала. Меня – нет. Я всегда чувствовал себя в этих домах как в гостях, надолго или не очень. Привык к этому чувству, как турист привыкает жить в разных отелях, которые всё равно никак не смогут заменить ему дом. А потому я не искал способа остаться там навсегда, обрести какую-то мифическую семью, чем бредили очень многие в приюте, особенно те, кто помладше. Сколько себя помнил, я легко входил в семьи и так же легко возвращался обратно в приют. И если называть домом место, куда всегда можно вернуться, то значит, именно приют и был мне домом.

Я вдруг очнулся от этих размышлений, и на секунду возникло то самое чувство «возвращения из семейного отпуска», которое неизменно вздрагивало в душе в такие мгновения. Одновременное разочарование и облегчение – странная смесь, загадочная именно этой одновременностью существования таких непохожих ощущений.

Венеция вопросительно смотрела на меня. С этим самокопанием я чуть не забыл про неё и её проблемы. Осторожно, как сапёры, мы пробрались по коридору в дальнюю комнатку. Эта забитая швабрами и какими-то мешками подсобка служила чем-то вроде клуба, «зоной отдыха» в нашем корпусе. По вечерам тут развлекались, кто как умел. Не всегда законно, но всегда в рамках, избегая лишнего внимания «надзирателей» к этому месту. Был даже некий график посещений, негласное расписание. И именно это стало основой для сегодняшней комедии.

Неуверенно глядя на меня, Венеция совершенно не понимала, чем нам поможет уединение с этими швабрами. Но на объяснения не было времени, тем более что знай она мой замысел, вряд ли смогла бы отыграть свою роль. А премьера очень важна, это вам любой скажет...

– Раздевайся, – сказал я, снимая рубашку.

Венеция ахнула, будто в неё иглой ткнули. Я предусмотрительно погасил свет, – в темноте волна негодования была не такой явной.

– Ты издеваешься?! – она зашипела как кошка, даже глаза, казалось, немного светились.

– Сама всё поймёшь, – я постарался интонацией успокоить её. – Снимай, что ты стесняешься? Я вроде уже всё видел... Ну, рассмотреть точно пытался.

Она подозрительно изучала меня, ожидая подвоха, какой-нибудь гнусной подлости. Но разумно рассудив, что я всё же числюсь её союзником, да к тому же единственным, отважилась и храбро стянула футболку.

– Дальше снимать? – ради достижения своей цели она готова была на многое. Похоже, всерьёз считала это делом выживания.

– Хватит. Джинсы только расстегни.

К сожалению, мне было не до любований её прелестями. Весь захваченный этой новой, хрупкой аферой я напряжённо прислушивался. Венеция замерла, чуткой интуицией угадав торжественность момента. Не знаю, кто первым из нас услышал этот звук шагов... Я едва успел обхватить Венецию, почувствовать лишь на один сладкий миг её тёплое тело, как безобразно шумная компания ввалилась в дверь. Свет врезал по глазам. Венеция автоматически взвизгнула – молодец, Венеция! – а я, толкнув её в единственный не видный от входа закуток, бросился к выключателю. Погасив свет, ворчливо одного за другим вытолкал этих «нежданных» гостей, обалдевших от немногого увиденного, но уже многого нафантазированного.

Венеция, суетясь, одевалась, торопливо шурша в потёмках. Подперев дверь, я потянул её, румяно-красивую, к окну.

– Вылезай, – на ходу выдавая инструкции, я помог ей перелезть на козырёк. – Направо, там мусорные контейнеры. Прыгать совсем невысоко. И бегом в свою спальню!

– А ты? – придержав мою руку, она удивлялась моему бездействию.

Я хитро заулыбался:

– А мне зачем через окно? Меня они и так видели. Пойду по-человечески. Встретимся у тебя, только отверчусь от этих придурков.

В дверь уже лომилась; истерзанные собственным воображением, шутивно галдели пошлости.

– Через минуту чтоб была в спальне! – почти приказал я, навязывая Венеции свою искусственную панику. – Если я туда первым прискачу, считай, всё пропало.

Она махнула как со старта, даже не подумав, почему это вдруг всё должно накрыться, если я куда-то там зайду. Но паника – такая заразительная штука... Лучший способ отключать даже самую изворотливую логику, который я знаю.

Я услышал жестяное хлопанье крышки бака, и мелко протопало уже под козырьком – обратно к входу. Совсем не собираясь никуда бежать, я расслабленно осмотрел комнатку – так, на всякий случай. Девочки вечно теряют заколки, булавки – всю эту мелкую, блестящую дребедень, которая легко может навести на след. И только после впустил дрожащую от любопытства ватагу. Развязно и нехотя отбиваясь от лавины непристойных шуток и вопросов, я побрёл к себе. Представил, как Венеция, растрёпанная и запыхавшаяся, ждёт меня сейчас, досадуя и не понимая, что со мной произошло, и почему я так и не приду. Замечательно. Это определённо кое-кого заинтересует. Уже завтра они свяжут эти два события в разных концах корпуса, начнут искать доказательства своим домыслам. И чем дальше, тем активней. Так почему бы не устроить им эту охоту?

Бессовестно ломая разработанный план, весь следующий день я избегал Венеции. И не заметить этого мог разве что слепой. Единственный, кто с самого начала относился к ней спокойно, кого почти не пугала её метка прокажённой, единственный, кто всегда и во всём настойчиво удерживал нейтралитет, вдруг сам – добровольно и подло – примкнул к этой своре гончих. Да это было действеннее, чем прямо указать пальцем! Нас изучали, пытливо присматривались, шуршали шепотком по углам. А я старательно переманивал сомневающихся в лагерь уверенных. На перерывах меня будто сдувало с места. Ни на секунду не оставаясь в одиночестве, я лишал Венецию малейшего шанса поговорить, отгораживался от неё невидимой трусливой стеной. Она ёрзала от нетерпения, заметно нервничала, не в силах разобраться, и отлично отыгрывала свою роль в моей пьесе. Сознательно подставляя её под удар, я сбежал к Расти при первой же возможности. Шатаюсь с ним до самого вечера, думал, что, может быть, именно в этот момент Венеции устраивают какую-нибудь очередную гадость. Только на этот раз это будет проверкой для меня – посланием, первым требованием выбирать с кем я и против кого.

Дотянув до темноты, я наконец-то вернулся и даже не удивился, увидев Венецию всё на том же месте. Подстеречь меня здесь было единственным верным шансом выяснить всё без ненужных свидетелей. Но она не сделала и попытки заговорить.

– Что-то случилось? – наиграно-наивно спросил я.

Её взгляд был способен что-нибудь поджечь, но она смолчала. Эта яростная обида была красноречивей любых слов. Это и было тем сигналом, вызовом. А она сама была ключом к решению моих давних, почти забытых споров.

«Потерпи, Венеция. Ты нужна мне... Твоя обида и твоё одиночество».

Замученная своей многодневной борьбой, допустив уже слишком много ошибок, чтобы выпутаться из этого змеиного клубка самостоятельно, отчаявшись, но не сдававшаяся, она всё-таки так надеялась, что сегодня её уже никто не тронет... Что я сделаю хоть что-нибудь... Просто буду рядом. И она ненавидела меня сейчас именно за эту свою надежду, что поверила мне и в меня. А взамен я бросал её под ноги всей этой развлекавшейся травлей стае.

«Но прости, Венеция, по-другому мне не выиграть...»

Ожидая истерики, крикливой и оскорбительной для нас обоих, я терпеливо стоял возле неё. Но кроме молчаливого, страшного каким-то внутренним отчаянием гнева, не видел ничего. Она словно боялась саму себя, сдерживалась, быть может, рассчитывая услышать извинения, отговорки – что угодно, что позволило бы ей если не простить, то хотя бы понять моё поведение.

– Это из-за моих слов про семью? – неожиданно холодно спросила она.

Какую же силу души нужно иметь, чтобы настолько хорошо владеть собой? Она восхищала меня всё больше. Я поразился этой милосердной способности самой искать оправдания тому, кого она уже считала подонком, худшим из своих врагов. Она давала мне то, чего никогда бы не получила от меня сама, стань она моим врагом – личного адвоката для совести, возможность снова протянуть руку дружбы и оставить себе собственную гордость.

Но я не мог и не хотел принять её великодушия.

– Нет, – тихо ответил я.

– Тогда почему сказал, что поможешь? Почему сразу не отказался? – теперь она смотрела мне прямо в глаза, искала хоть что-то, на что ещё сможет опереться её рушащаяся вера в людей.

– Я отказался. Дважды. Но ты решила, что меня можно использовать. И ошиблась.

Я не успел отклониться. Когда это я считал, что пощёчина это не больно? Вложив всю ярость, всю свою страшную обиду в удар, Венеция навсегда избавила меня от этого заблуждения. Пощёчина действительно, а не для зрелищности оскорблённой женщины – это чертовски больно. И громко.

Моя совесть, отбитая этой оплеухой, тут же заткнулась. Венеция так талантливо и хитро затаскивала меня в свои сети, использовала для собственной выгоды, а теперь не прощала мне того же самого. Того, что *в этом* мы были одинаковы.

– Аванс верну, когда скажешь, – обозлённый я не собирался её щадить.

– Оставь себе, – она добила меня взглядом за этот нож в спину.

Сжав зубы, я смотрел ей вслед. Надменно-гордая от бессилия она шла как на казнь. Одна против всех. Снова. В такой войне невозможно победить, и сейчас она, кажется, это поняла. Но с детства привыкшая, что весь мир так или иначе вертится вокруг неё, она не рассмотрела основного – что уже перестала быть главным действующим лицом на этой сцене. Прячась в её тени, я заманивал всех поучаствовать в моём представлении. За любой новый статус в любом коллективе неизбежно приходится бороться, неважно насколько тайно или явно. И именно Венеция поможет мне выиграть эту борьбу с наименьшими потерями.

Завтра...

VI

Кто знает, почему я не раскрыл ей свой замысел... Боялся, что она струсит, не захочет мне подыграть? Вряд ли. Её травили и без меня – ещё один день ничего бы не изменил. Что не хватит достоверности? Самое беспомощное из моих оправданий – уж притворяться Венеция умела, да и роль была вовсе несложной. Возможно, из-за приобретённого защитного рефлекса, врождённой скрытности – никому никогда не раскрывать свои планы, прятать всё, что можно спрятать, неважно насколько это спрятанное ценно для меня самого. Не знаю точно... Скорее всего, скрытность, помноженная на гордыню, и была причиной моего молчания. Ведь знай Венеция всё заранее, ожидай этого моего разыгранного, выпяченного благородства, знай, насколько оно разыграно и преувеличено, что оно – лишь необходимое моему тщеславию дополнение, побочный продукт моего плана, – пойми она всё это, и я никогда бы не получил тот кредит доверия и восхищения, который до сих пор связывал нас трепетной нитью. Я малодушно сохранил эту свою тайну и искренне надеялся, что Венеция всё ещё не догадывается про бо́льшую, истинную часть причины моего поступка.

Слишком хорошо я знал себя, слишком мало верил в себя. Я никогда не был героем, никогда не был даже просто отважным в будничных, незатейливых поступках. Но тем яростнее моё самолюбие с детства металось в душе, мечтая и тоскуя, требуя яркого, завораживающего подвига. Такого даже, которого и быть на свете не может. И вот Венеция сама протянула мне эту блистающую маску, и я не смог от неё отказаться. И пусть это был лишь маскарад, разыгранная роль, но разыграна она была настолько хорошо, что на время я смог обмануть даже самого себя. На время я и впрямь стал героем, благородным защитником в ослепительных доспехах. Идеально скроенная ложь и вблизи неотличима от правды...

Тот самый автор этой хитросплетённой идеи, мелкий, задорный бесёнок с утра неутомимо прыгал у меня в сердце. Дрожа от ожидания, снова и снова проверял и перепроверял всё сказанное и сделанное, подгоняя финальный акт этого маленького спектакля. Не понимая, что уже не сами выбирают дорогу, мои противники послушно шли туда, куда нужно. Именно эта неспособность осмыслить ситуацию, приглядеться, разобраться и узнать что-нибудь новое, непривычное, нестандартное, и вела их к моей приманке. К Венеции – идеальной добыче, упрямой, не сдававшейся, дразнившей их всех строптивостью, нежеланием опуститься до позорной капитуляции. Своим теперешним окончательным одиночеством она манила их ещё сильнее – безопасная игрушка для агрессивной, скучающей стаи...

Коллективный инстинкт толпы, стадный рефлекс всегда действует одинаково – сброд, привлечённый иллюзией силы, гордящийся той угрозой, которую собой представляет, не соображая, что угроза эта – лишь производное суммы кучки тщедушных ничтожеств, что каждый из них невероятно слаб в одиночку. И прячась за спины других, просто не может стать сильнее. Неспособная мыслить толпа, гнусные и настойчивые в этой гнусности, продиктованные завистью и ханжеством выходки. Люди, беспринципно сбившиеся в стаю, и почему-то решившие, что уже одно это дало им право на унижение, на власть, на травлю. Опасные лишь вместе, подсознательно защищавшие свою сплочённость они и правда были угрозой, с которой моя сомнительная доблесть вряд ли бы справилась. Но именно вчерашнее «предательство» Венеции найдёт того, с кем я проведу показательную дуэль, достаточно внушительную, чтобы и у остальных отбить желание предъявлять мне клыки.

Приманка, хищник, охотник... Все на местах. Сейчас мне оставалось только ждать, пока кто-то самый дерзкий, нетерпеливый и недалёкий выскочит вперёд, неосмотрительно оторвавшись от протектората большинства, и сам захлопнет мою ловушку. Утром уже была вяленькая, невнятная проверка – разбросали вещи Венеции по всему коридору. Похоже, они сами

не понимали насколько мерзко и жалко выглядят, требуя от меня всё новых и новых гарантий не вмешиваться. И, равнодушно перешагивая через тряпичный хаос, я красочно выдал им этот страховый полис, своим отвратительным бездействием в который раз вынужденно подтвердив, что не собираюсь геройствовать против толпы.

Чего же они теперь тянут? Ну же, «отважные» хищники, хватит ходить кругами.

Венеция бледная и какая-то даже совсем спокойная одиноко сидела на том «своём» месте у стены, – и чем оно ей понравилось? Апатичной неподвижностью она только облегчала мне задачу. Её нельзя было выпускать из виду, но и спугнуть желающих поиздеваться над ней «храбрецов» я тоже не хотел. Кажется, они наконец-то что-то задумали, потихоньку собираясь, разбредались по зрительским местам. Малодушная мысль всё-таки ни во что не ввязываться, – жить как жил, отстранённо и тихо, – всё же потопталась по моему подготовленному, начищенному до блеска, обворожительному благородству. Как же меня раздражала эта моя гаденькая, дрожащая, идиотская привычка всё ещё пытаться не вляпаться, когда уже вляпался!

Отвлёкшись на эти душевные метания, я едва не пропустил момент, которого ждал с самого утра. Какой-то заморыш с кривой ухмылочкой, бездарно переигрывая, бочком подбирался к Венеции. Нескладно паясничал, работая на публику. Истомился сам от нерешительности и утомил ею всех зрителей, так что захотелось приободрить его, спасти каким-нибудь напутствием. И вот когда уже всем отчаянно надоело наблюдать мучения его подленькой совести, он наконец-то осмелел, «споткнулся» и окатил Венецию грязной водой из ведра. И кое-кому это омерзительное зрелище даже успело понравиться. А я только того и ждал. Сорвавшись с места, в два прыжка догнал крысёныша. Подсекая и одновременно заламывая руку – как учил Расти – завалил, подмял под себя. Чувствуя вокруг ту мгновенную, уникальную тишину шока, которая бывает после внезапного, оглушительного выстрела, наслаждаясь ею, полный гордости и восхищения самим собой, я легонько стукнул своего пленника головой об землю.

– Ты, что ли, самый тупой? – риторически спросил я.

Внушительно глядя на этого прижатого моим коленом, осторожно хрипящего, перепуганного идиота, я не дал ему ничего проблеять. Прицелившись, негуманно и резко вдолбил кулак в солнечное сплетение. Больше этот корчащийся болван был мне не интересен. Пора заняться остальными, пока им не пришлось в голову всем вместе образумить меня. Я внимательно осмотрел притихшие группки зрителей. Тщательно расталкивая в сердце гнев и ярость, зля сам себя, я вложил во взгляд всю силу, на которую был способен. В конце концов, ведь неважно даже, готов ли ты убить на самом деле. Главное, не дай противнику усомниться в этом. Заставь, пусть на минуту, поверить самого себя в то, что не только готов, но и убьёшь, едва лишь найдётся повод. Эта минута иногда способна выиграть целую войну...

Я смотрел на тех, кто ещё недавно так веселился, наблюдая чужое унижение, планомерно выискивал их взглядом, укрощал по одному. Сейчас я и вправду был опасен, быть может, больше, чем сам осознавал. В этом не было храбрости, просто тот первобытный, чудовищный, убийственный инстинкт борьбы за территорию, за доминирование, за выживание, который века цивилизации так и не смогли усмирить до конца, был на время спущен с цепи. И я старательно переливал в их души свою убеждённость в опасности этого неуправляемого зверя.

Как собаки с внезапно и больно отдавленными лапами, они жались в стороне, осторожно присматривались издали. Они удивлялись тому, что ещё вчера заискивающе махавший хвостом пугливый щенок, вдруг оскалившись, кинулся к горлу. То, что они посчитали глупым, вдохновенным порывом трусливого мальчишки, на деле оказалось чем-то совершенно иным. Чем-то непонятным, а потому опасным вдвойне. Однажды меня научил этому Расти – скрывай свою силу, сколько б у тебя её ни было, прячь за слабостью. А после лишь выбери подходящий момент и ошеломил всех. И чем агрессивней, чем ярче и быстрее будет это превращение, тем выгоднее. Идеальная сила – та, о которой твой враг даже не догадывается.

Никто не решался ответить на мой молчаливый вызов, и я, не рискуя затягивать эти приглашения подраться, – ведь могли же всё-таки и уступить моему упорству, – подошёл к Венеции, изумлённой, возможно, больше всех, вежливо собрал промокшие тетради.

– Пошли, переоденешься, – я осторожно подтолкнул её к входу.

Видимо, на шум откуда-то из-за угла вынесло мистера Ли. Похоже, сегодняшний день проходил под лозунгом «Выбери на чьей ты стороне». Вот и ещё одному придётся определиться. Кое-кто за спиной уже начинал отходить от потрясения, и впервые этот мой вечный тренер для нервов был как нельзя кстати.

– Что происходит, Тейлор? – он казнил меня своими алчно-подозрительными глазами, с привычной и давней уверенностью считая виноватым меня и только меня.

– Борьба самцов, мистер Ли. Ничего противоестественного, – заигравшись в свою героическую роль, может быть, единственный раз за всё время нашего с ним знакомства, я смотрел ему прямо в глаза, не виляя и не изворачиваясь.

Он глянул на мокрую с ног до головы Венецию.

– Иди переоденься. А ты, – он ткнул в меня пальцем, – и ты, – его палец указал куда-то мне за спину, безошибочно отыскав второго «самца», – марш к директору.

– Нет, – ожила вдруг Венеция. – Я с ним пойду.

Она демонстративно придвинулась ко мне. Моё первое маленькое алиби, так любезно предоставленное Венецией. Тем более ценное, что было неожиданно и не прощено...

Каждый раз, вспоминая тот день, я испытывал неизбежное, сладко-тёплое чувство гордости за себя, за ту ловкость, с которой сумел повернуть всю эту авантюру. Не заслуженное, а потому стыдное чувство восхищения самим собой. Но будто что-то тогда попыталось научить моё трусливое сердце тому, что быть храбрым и благородным может быть необычайно выгодно. Что восхищение – своё и чужое – один из сильнейших душевных наркотиков, легко привыкнув к которому, уже ни за что не согласишься на былую невзрачную скромность. Удача забросала меня подарками за маленькое и очень робкое стремление, за простенькую, хрупкую смелость всё же не отказываться от своего слова. За само понятие «честь», которое я, несмотря ни на что, уважал и берёг в себе. Но если быть совсем уж откровенным, то всё, чего я пытался добиться, это перестать быть слугой тем, кто мог и уже однажды давно умудрился испортить мне жизнь. Предав «собственную девушку», я униженно попросился в стаю, и меня снисходительно приняли, не зная, что это потешит их тщеславие лишь на один день. Всего на день я стал как все – слабым, податливым на подлость и общительным. Но тем неожиданнее было нападение. Тот, кто так долго и преданно служил им, безропотно выполняя указания и поручения в обмен на спокойную жизнь в стороне, вдруг взбунтовался. Все эти услуги, которые давно перестали считаться чем-то добровольным с моей стороны, незаметно прилипли, как обязанность, и воспринимались не иначе, как должное серыми жокаками наших свор – все эти негласные контракты и соглашения я перечеркнул одним махом. Они полагали, что их сила неоспорима и не нуждается в подтверждении. Удивились, когда кто-то решился на проверку. И удивились ещё больше, когда эту самую проверку не прошли. Моей независимости отныне не требовалось их разрешение. И вот именно эту, основанную исключительно на собственной выгоде, весьма далёкую от благородства цель, я и упаковал в праведное возмущение, в нечто, очень похожее на маленький подвиг.

Иногда я спрашивал себя, согласился бы я испортить кому-нибудь жизнь? Пусть лишь на один день ради выгоды подставить кого-то под нож коллективной немилости? И мне очень хотелось ответить «нет» самому себе, найти этот ответ в душе, как золотую жилу. Но на самом деле я не знал правильного, до конца искреннего ответа. И это мучило меня почти так же, как если бы я точно узнал, что «да, согласился бы».

Но удача и тут побаловала меня отсутствием такого выбора. Напротив, защитив Венецию, я добился своего и выполнил наш уговор, быть может, даже эффективней, чем если бы занимался только её проблемой, не отвлекаясь на прибыль для себя. Это и был тот максимум, на который я рассчитывал. Но судьба задумала крепко посадить меня на поводок великодушия. Как грустный, одинокий именинник вдруг оказывается перед толпой весёлых гостей, и, обалдев от радостного недоумения, не успевает принимать подарки, так и я в тот день будто вытаскивал счастливый билетик лотереи жизни. Засыпанный конфетти славы я, сам того не ожидая, заслужил так долго и безрезультатно вымаливаемое уважение мистера Ли. Быстро разгадав произошедшее, приятно удивлённый тем, что вскрылось во мне, тем обаянием бескорыстного порыва, он впервые не пожелал рассмотреть хитрость, в которой так часто и нередко незаслуженно привык меня винить. Будто ослеплённый яркой вспышкой моего поступка, он успел увидеть лишь красочную, навязанную мною же картинку, отражённую в восхищённо сияющих глазах Венеции. И, словно медаль за отвагу, торжественно вручил мне своё рукопожатие.

Но даже этого показалось мало моей удаче в тот день. Как внезапно получивший огромную сумму, чокнувшийся от такого невероятного богатства человек, она заходила в собственной щедрости. С каким-то срочным делом вдруг заявился Расти, распугал своим ростом и мрачной, трудно скрываемой силой последних, кто ещё мог оспорить мой новый самопровозглашённый статус. А потому никто никогда так и не узнал, что всё, что я тогда умел в драке, весь тот максимум козырей уже был предъявлен – подсечка и точный удар в солнечное сплетение. Никто так и не рискнул устроить проверку мне самому. И как легендарный драконоборец из древних сказаний, я получил свою главную награду...

– Ты обещал вернуть аванс, когда скажу, – завораживающе прошептала Венеция слишком близко к моим губам, настолько близко, что я на мгновение забыл как дышать. – Возвращай, – приказала она и забрала меня в свой прекрасный, возбуждающий, волшебный мир...

Огромный запас удачи, выданный мне в тот день за одну лишь готовность пожертвовать хоть чем-то ради кого-то другого, так бездарно и безвозвратно растраченный, похоже, закончился только сегодня. Я незаметно привык к своему иногда такому поразительному везению, считал себя достойным этого благоволения судьбы. Ни капли не сомневался, что удачливость дана мне по какому-то заслуженному праву, а потому никогда не подведёт. Глупо и дерзко я испытывал её снова и снова, проверяя на прочность. Будто это было что-то, что можно натренировать, развить силой воли, принудительно взять больше, чем положено. И за эту мою наглость жизнь теперь требовала плату. Жестоко и неожиданно, как грабитель. Венеция, свобода, время, спокойствие, здоровье, будущее – всё это, так или иначе, пойдёт в оплату этого счёта. Безжалостно-многозначная цена наивного убеждения, что не поймают...

Всю ночь я ворочался от этих размышлений, агрессивно выскакивающих воспоминаний, сожалений, гнетущих и без того отчаявшееся, словно окаменевшее от безысходности сердце. Раздражаясь от бессонницы ещё больше, слушал через стенку счастливое похрапывание Расти. Крепкие нервы и душа без лишнего воображения – вот уж истинное благословение природы.

Лишь перед рассветом, в тот самый холодный и тихий час ночи, когда природа замирает в ожидании светлеющей полосы горизонта, я всё-таки заснул дёрванным, наполненным какими-то безумными образами, чутким сном.

VII

А утром началось самое интересное. Меня, Расти и ещё троих завели в знаменитую – спасибо фильмам – комнату с зеркалом во всю стену, дали каждому квадратик с цифрой. Оpozнание. Глядя на своё пронумерованное отражение, нервный и бледный от бессонной ночи, я потел от страха. Где-то в зазеркальной темноте решалась наша участь. И кто его знает, какое подслеповатое косоглазие могло заставить кого-то там ткнуть пальцем в одного из нас, навсегда обрушив наши судьбы в бездонную пропасть пожизненного заключения. Выспавшийся и упорно нахальный Расти паясничал, перевернув свой номер вверх ногами и скалясь блаженной улыбкой умалишённого тем, кто разглядывал нас, надёжно скрытый нашими же отражениями. Когда я и сам уже готов был его стукнуть, ему наконец-то намекнули не выпендриваться. Мои подсознательные поиски виноватых вцепились в эту его весёлость, в эту безобразно-бессмысленную, абсолютно невыгодную развязность, только злившую наших судей и ничего больше. Неужели его и правда не волновала перспектива бесконечных ночей в камере? Храбрость, тупость, безрассудство? Или одна лишь голая детская бравада? Скорее всего, всё это в равной мере... Слишком гордый, чтобы смолчать в ответ на любые попытки его унижить, даже просто ограничить в чём-то, и достаточно сильный, чтобы не бояться позволить себе это рискованное бахвальство. Ничто, кроме его собственной воли, не способно было справиться с его характером, склонить, поставить на колени. Иногда мне казалось, что ему проще умереть, чем уступить в чём-то, подчас довольно простом, но почему-то принципиальном для него самого.

Так, разглядывая как дураки самих себя, мы простояли минут пять. И всё закончилось. Я даже разочаровался, настолько буднично и скучно всё это получилось, совсем не так пафосно, как выглядело в кино. Нас снова растолкали по комнатам для допроса. Но вместо вчерашнего – грубого и озлобленного – зашёл новый полицейский, попроще и поунылей. Его интересовала только машина.

Значит, кто-то там за зеркалом перевёл нас в раздел «мелочи», этим идиотским опознанием сняв бирку опасных и замешанных в чём-то крупном. Какой-то свидетель, выживший и видевший стрелявшего в том ограблении. А гады копы вчера даже не соизволили намекнуть на этот факт, возможно, ставший последней нашей надеждой.

«А если б я с перепугу повесился у них в камере?! Уроды!»

Несмотря на огромное, неизъяснимое облегчение, я злился всё больше, машинально повторяя уже, кажется, в сотый раз вчерашнюю историю. Слово в слово, как механический попугай. Коп всё писал, а я тотально разочаровывался в сериалах про полицейских, да и вообще во всей киноиндустрии. Под мерные, раздражающие до нервной дрожи посапывания следователя я подписывал какие-то протоколы и не знал, кого из всех этих безразличных к чужой судьбе людей ненавижу сильнее.

Я смертельно хотел спать. Больше этого я мечтал разве что выбраться из этой вонючей конторы раз и навсегда.

«Надо как-то позвонить Венеции...»

Меня отвлек вчерашний страж порядка. Не тот, который допрашивал, а другой – один из лихой парочки, так азартно гонявшейся за нами.

«Ему-то что надо?»

Заинтересованно поглядывая на меня, он придержал дверь для ещё одного.

«О, Господи, этот ад когда-нибудь закончится?!»

Я не выдержал:

– Сегодня я, похоже, всем должен. Вам чего? Предоставьте, что ли, для приличия какое-нибудь чучело в качестве адвоката, не дайте мне шанса оспорить всю эту фигню в суде.

Эти двое весело переглянулись.

– Агрессивный парнишка, – вчерашний коп кивнул головой в мою сторону. – Я про него тебе говорил.

Второй понимающе улыбнулся. Я молча психовал, шалея от такой известности, почти мечтая про суд, про то, чтобы хоть как-нибудь – как угодно, чёрт возьми! – но всё это поскорей закончилось. Иначе я свихнусь гораздо раньше, чем услышу приговор.

Улыбчивый внимательно меня рассматривал. Выложил сигареты на стол и приглашающе пододвинул пачку.

«Ну и что это за новые игры?» – я настороженно глянул на него.

– Не куришь? – просто, будто какого-то давнего знакомого, спросил он.

Я мотнул головой. Занятый мобилизацией хитрости я ожидал новую пакость от всего этого, панически искал в уставшей, замученной памяти любые зацепки. Где, когда и как я мог проколоться? Какие новые испытания для самообладания прячутся за расслабляющей, спокойной вежливостью этого странного человека? И кто он вообще такой?

Пачка улизнула обратно в карман.

– Молодец, – одобрил он. – Наркотики?

«Очень умно. Ага, я вот прямо сейчас так и кинусь исповедоваться во всех смертных грехах! И давно копы успели настолько обнаглеть?»

Но его, видимо, совсем не занимало моё нежелание отвечать:

– Проблемы со здоровьем?

«Да что ему надо, в конце концов?! Мои органы для умирающего сына?»

– Говорят, ещё и бегаешь отлично.

Тут же встрял тот вчерашний:

– Я еле догнал, – и заулыбался как на именинах.

«Еле догнал»?! В лишнем самомнении он явно не нуждался. Хрен бы догнал, если б мы сами не сдались!

Я напряжённо и угрюмо ждал, чем эта болтовня закончится, раздражаясь, что моё демонстративное молчание, казалось, вовсе не мешало им общаться.

– Занимаешься бегом? Кто тренирует? – он доброжелательно смотрел на меня, приглашая к разговору, как гостеприимная хозяйка к чаю.

– Улица и не такому учит, – буркнул я в безнадежной попытке отвязаться.

Но они словно обрадовались ещё одному собеседнику.

– Хороший у тебя тренер. Фил – чемпион района в беге на длинные дистанции, – «сигаретник» кивнул на товарища. – А ты от него почти убежал.

Какую мою ошибку он стремился выторговать этой тонкой лестью?

– Так вот оно что! Я чуть не угробил его титул? Польщён. Только пусть в следующий раз сразу кричит, что чемпион, чтоб случайно всё-таки не опозориться.

Они развеселились. Выспавшиеся и довольные забавлялись со мной, спасаясь от нудных будней. А я вынужден был тут сидеть и разменивать последние драгоценные нервы на выслушивание всего этого бреда.

– Не думал, что зря тратишь свою силу, молодость, своё здоровье, весь этот природный потенциал на всякую мерзость, которая, поверь мне на слово, похоронит тебя очень быстро? – «сигаретник» проникновенно стучался взглядом мне в душу.

Великолепно. Проповедник. Этого ещё не хватало! Неужто уже и спасение души стало «обязательной программой» этой дивной комнаты пыток?

– А я считал, что священник приходит только перед казнью, – я развязно откинулся на спинку стула. – Или я проспал новые порядки?

Фил чуть не подавился кофе.

– Признай, так тебя ещё не называли, – с трудом прокашлявшись, он смеялся и, как это ни парадоксально, беззлобно. – Ну, сержант, бросай своё безнадежное дело, сдавайся в церковь.

«Сержант?!.. Армия. Какого чёрта всё это значит?! Не знаю и знать не хочу».

Мир полоумных вояк меня точно не интересовал.

– Ой, пардон. Я опять отличился? Рад, что повеселил. А теперь можно я пойду, пока ноги совсем не атрофировались, – издевательски раскланиваясь, я поднялся, словно и вправду мог уйти вот так, по собственному желанию.

– Подожди...

«Бо-о-оже мой, как будто могла быть альтернатива...»

– У меня к тебе предложение, – сержант наконец-то стал серьёзен.

«Ну, здóрово. Всё-таки поговорим по существу ещё до прихода старости», – состроив внимательность на лице, я соизволил сесть.

Доблестно не обращая внимания на мою клоунаду, сержант твёрдо посмотрел мне в глаза:

– С общественным адвокатом тебя закроют минимум на полгода. И вряд ли ты радуешься такому «курорту».

Он подождал какой-нибудь моей реплики, но не дождался и продолжил:

– Единственный способ избежать этого – пойти в армию.

Я рассмеялся, как-то вдруг и беззастенчиво, сам от себя не ожидая такого хамства.

«Он это серьёзно? Променять максимум год тюрьмы на два-три года с таким же полным отсутствием свободы и личной жизни в потной казарме в придачу с парой орущих сержантов, а возможно и под пулями? Потрясающе!»

Я даже растерялся от такой «заманчивой» рекламы.

– Нет, спасибо, – я безапелляционно отфутболил его любезное предложение. – Если есть желание, попробуйте Расти поугovarивать. Может, с ним и повезёт...

– Уже, – он хитро заулыбался, кромсая мне сердце этой улыбкой. – Повезло. Уговорил.

Я хлопнулся лицом в ладони. Конечно! С тех пор, как я его знал, Расти не мог спокойно смотреть на оружие, бредил войной, взрывами, всей этой причёсанной, приукрашенной киношной героикой, этим кроваво-патриотическим кошмаром, постоянно творившемся где-то в мире. И стоило этому самоуверенному вежливому сержанту поманить одной только возможностью где-нибудь во что-нибудь пострелять, и Расти, как бестолковый, восторженный ребёнок за конфетой, потянулся подписывать какую-то гадость, безвозвратно лишаящую альтернативы.

«Ну да, в тюрьме ж пострелять не дадут, вот он и выбрал...»

– Он уже что-то подписал? – угрюмо спросил я, ни на что, в сущности, не надеясь.

Сержант искренне удивился:

– Нет. За пять минут это не делается. Надо пройти тесты, медосмотр... много чего. Инвалиды и дураки армии ни к чему.

– Отлично, – я вздохнул с облегчением. – Тогда забудьте. Я его отговорю.

– Вот ты вроде неглупый парень, Джейсон Тейлор, а не замечаешь очевидного, – сержант устало покачал головой. – Подсчитал, что полгода в тюрьме это меньше, лучше и выгоднее, чем три-четыре года армии? Только ведь эта математика не так проста. Отсидишь срок и что дальше? Правда решил, что он будет первым и последним? Сколько раз ты готов вернуться в тюрьму? Сколько лет отдашь в итоге решёткам и грязным камерам? – он печально посмотрел на меня. – Не отвечай. Просто подумай и будь честен с самим собой. И ещё. Наверное, ты очень везучий парень, и, надеюсь, ты всё же сообразишь воспользоваться собственным везением. Считаю моё присутствие здесь подарком судьбы. Если бы Фил вчера не рассказал про тебя, меня бы здесь не было. Не думай, что я хожу по участкам и рекламирую всем и каждому страну больших возможностей под названием «Армия», – он поднялся, завершая разговор. – Так воспользуйся этим шансом пока не поздно.

Из портфеля он вытащил цветной ворох буклетов и протянул мне.

– Просто возьми и поразмысли над тем, что я сказал. Снятие обвинений, служба и нормальная жизнь или наматывание кругов между улицей и тюрьмой до самой смерти. Тебе выбирать.

Я не пошевелился, хмуро наблюдая за ним и не зная, что могу ответить, и нужны ли вообще этому настырному сержанту мои ответы. Но он всё так же держал в вытянутой руке свои яркие, завлекательные рекламки. Его упорства легко бы хватило на двоих. Сдаваясь этой молчаливой твёрдости, я подумал, что невежливо вот так заставлять его ждать. Тем более, что он один во всём этом чёртовом участке, похоже, действительно старался мне помочь. И я взял эти проспекты.

– Надеюсь, ещё увижу тебя, Джейсон Тейлор.

Он протянул мне руку, и я, застигнутый врасплох этим неожиданным проявлением дружбы, как-то автоматически пожал её.

VIII

– Ты совсем сдурел, Расти?! – я кричал, как будто чем громче, тем доходчивей. – Тебе жить надоело?! Если да, пулю ты и тут схлопочешь. Иди найди ещё одну пушку и наставь на полицейского. А лучше двух-трёх. Делов-то! И нефиг так всё усложнять.

Я бесился, сознавая, что Расти уже всё для себя решил, и по опыту зная, что все мои доводы, какими бы мощными они ни были, разобьются об эту его непреклонную веру в правильность выбора. Если Расти упёрся лбом в какую-нибудь идею, всё равно какую – мелкую или глобально-важную, – если решил для себя что-то, то это было раз и навсегда. Я мог порваться от крика, застрелиться у него на глазах, все земные материки сойтись и разойтись, – неважно, что могло бы произойти, Расти уже ничто не способно было переубедить в его феноменальном, фанатичном упрямстве. Своенравный до абсурда, подчас он заикливался на какой-нибудь совершеннейшей мелочи, бессмысленной ерунде. Но стоило ему это сделать, определить самому для себя, что вот именно так должно быть и будет правильно, и уже все танки мира не сдвинули бы его с этой позиции.

– Это ты всё усложняешь, – хладнокровно парировал он. – Почему это меня прям сразу убьют? А если и да, то сам сказал, что тут я ещё легче пулю поймаю.

Чёрт. Теперь мой аргумент обернулся против меня же. Только Расти так умел. Отгородившись мощнейшей бронёй своего незыблемого упрямства, он даже и не отбивал атаки, равнодушно и лениво наблюдая, как все тщетные попытки пробить его стойкость словно сами отскакивают от этой проверенной в боях брони. Казалось, что и само решение, выбор, который он сделал, уже перестал принадлежать ему именно с той самой секунды, когда он постановил для себя: да или нет. Единожды склонив ту или иную чашу весов, Расти будто запирает этот вердикт в надёжный сейф, чтобы тут же выбросить ключ, чтобы уже никакая сила не смогла сокрушить твердыню его уверенности. Иногда мне виделось, что он и сам не рад такой нелепой зависимости, невозможности изменить свой же приговор, что он сомневается и хотел бы, быть может, выбрать другой путь... Но что-то грубо и жестоко держало его в тисках данного себе слова. Моя, всегда с трудом и часто в последний момент принимавшая окончательное решение, точно пляшущая на угольках множества вариантов душа никак не могла привыкнуть к такому. Именно к этой странной невозможности позволить самому себе вдруг передумать.

Расти, насупленный и какой-то подавлено-уставший, нехотя отвечал на мои выпады. Что-то вроде простой вежливой попытки дать мне понять бесполезность уговоров, прекратить эти беспомощные, бестолковые метания, которые ничего не смогут изменить. Всю вызывающую весёлость, так долго бесившую полицейских, он будто забыл за дверью участка. Порой мне казалось, что в силу какой-то неведомой душевной болезни, он путал места и события, настолько часто его настроение не соответствовало происходящему. Злобно-насмешливый паяц в минуту опасности, легко и бесстрашно непозволительно-грубой развязностью дразнивший врагов, независимо от риска, подчас и вовсе плюющийся на последствия своих слов и поступков, тот же Расти мог сидеть мрачно-циничным, гневный и сентиментальный одновременно на собственном дне рождения, монументальный в своей мрачности среди общего веселья. Я уже привык к этой его особенности, и потому почти не удивлялся, не узнавая в этом уставшем, ссутулившимся, будто сутки без отдыха таскавшем мешки человеку, того Расти, который ещё недавно лучезарно скалился в лица копам, шутил и развлекался, непробиваемый для всех полицейских угроз.

– Если я в армии склеюсь, семья хоть компенсацию получит. А тут она получит толькодохлого меня с парой пулек внутри. К тому же, за отсидку в той «тюрьме» платят. Может, из долгов выберусь, – он оживился, словно обрадовался, так удачно наскочив на этот ещё один новый аргумент в пользу своего выбора. – Тебе, Тейлор, легко рассуждать. Семьи нет,

с Венецией, сам говоришь, всё несерьёзно – сегодня у тебя, завтра надоеет, обратно к матери отправишь. Сам себя ты всегда прокормишь, хоть с Вегасом, хоть без. А на мне мать и сестра со своим мелким. Можешь обозвать меня старым романтиком, но я хочу, чтобы у них была нормальная жизнь, чтобы они не вздрагивали, когда я ухожу по ночам, не паниковали при виде копов у двери. И последнее, чего я хочу, так это, чтобы пацан стал считать нормальным носить передачи дяде в тюрягу. Пусть хоть у него детство будет таким, каким положено быть детству...

Он, видимо, выдохся. Это была поистине грандиозная речь, вдохновенная как на параде. Что ж, наверное, он был прав. Я никогда не знал, что такое семья, близкие... Каково это жить, отвечая не только за себя, оберегая того, кто рядом, от кого немислимо отказаться и отвернуться. Мне были незнакомы все эти коварные кровные узы, сковывающие иногда таких непохожих людей. Волею рождения, любящие или ненавидящие, независимо от своих желаний они шли по жизни в одной связке, как арестанты, с невозможностью выбирать того, кто будет подле. Хрупкая цепочка ДНК сплетает и сплачивает, калечит и тешит – это уж кому как повезло в этой родственной лотерее.

Самые крепкие оковы, когда-либо существовавшие в мире, сняли с меня сразу после рождения. Годами живя в приёмных семьях, я так и не научился чувствовать себя хоть какой-то частью этих семей. Лишь зритель – любопытный, наблюдательный, – порой вынужденно, но всегда временно участвующий в этом представлении под названием «семья». Никогда не понимал, как кому-то удавалось прижиться у чужих людей, самостоятельно взрастить в себе этот родственный инстинкт любви и взаимопомощи, обмануть своё же сердце, память... Почему же я не мог вот так же управлять собой? Запретить себе знать, что я – чужой, что кроме милосердия или выгоды меня ничто с этими людьми не свяжет? Почему я никогда не хотел выбрать, если не семью, то хотя бы просто комфорт? Ведь были же среди всех моих пристанищ тёплые, светлые, приятные дома, где мне нравилось и откуда не хотелось уходить. Так почему же через год-два я всё же поворачивался спиной ко всему этому, возможно, сам того не желая, обижал каких-то милых людей, изо всех сил старавшихся приручить моё неугомонное свободолюбие? Уйти первым, не дать им самим бросить меня?.. Трусость сердца, в котором застряла картинка с мигалками и собакой... Тот первый мой дом – единственный, из которого я не хотел уходить. Но судьба даже не собиралась интересоваться моим мнением. Разочарование и обида, пришедшие гораздо позже, но тем вернее хранимые в душе...

Иногда мне было грустно, что во всём мире нет людей, к которым можно по праву принести свои проблемы, вывалить, не стесняясь и не прося извинений, весь этот ворох, а потом сидеть плечом к плечу и вместе его разгребать. Но это было мечтой, почти недостижимым идеалом, и я прекрасно сознавал, что многие, выросшие в своих родных семьях, были к нему не намного ближе, чем я. В моём же случае наблюдался ещё и огромный, очевидный плюс – *никто* не мог задеть моё сердце достаточно сильно, чтобы надолго разрушить мой душевный покой.

У Расти же была вечно болеющая мать, сестра с маленьким сыном и отец, напивающийся и буйный, неуправляемый и жестокий в своём пьяном бешенстве. С детства Расти, битый и озлобленный, прятался от него на улице, предпочитая опасность переулков изуверствам отца, а теперь ругался с ним почти каждый день чуть не до драки. Единственный, кому незлопаметный, быстро отходчивый Расти так ничего и не простил, трепетно сберегая в памяти детские слёзы и терзания. Будто вся мстительная злоба, выданная ему природой, сосредоточилась на этом одном человеке и на других её попросту не хватало. И кажется, Расти всё ещё его боялся. Стыдился и злился от этого унижительного страха собственного отца, и всё равно боялся, не в силах до конца перебороть детскую веру, что страшнее человека нет. Может, потому он так был влюблён в оружие, в этот символ непререкаемой силы, мощный аргумент против любой угрозы? И армия теперь указывала ему простейший путь...

– Ты как хочешь, Тейлор, но я свой выбор сделал. Можешь не стараться меня переубедить.

Я уже и не старался. Но этой фразой Расти словно тайно предъявил мне брешь в обороне. Стеснительно и предательски, будто просил себя уговорить, но не мог признаться в этом желании даже самому себе. Он мучительно сомневался. Упрямо пинал свои сомнения в дальний угол души, но даже забытые и обессилившие, почти незаметно эти колебания подтачивали его уверенность. И если бы Расти сейчас не выдал мне этого своего «диверсанта», то я бы, пожалуй, и не стал продолжать истязать и себя, и его, разубеждая и переманивая. Может, борьба с его упорством не такая уж и безнадежная, как мне до сих пор казалось?

– Что Вегасу скажешь? – я сменил тему, подставляя Вегаса его сомнениям.

Расти насупился, уколотый этой хитростью. Но авторитет Вегаса, похоже, рухнул после пары ночей за металлическими прутьями.

– А почему я должен ему что-то говорить? Думаю, подыскать себе другого дурака он и сам догадается.

Я всё-таки попытался завлечь его:

– Пошли хоть сегодня... Вроде как «до свидания» скажешь.

Но Расти, видимо, сообразил, что если мы с Вегасом разом насядем с уговорами, то он может и не выдержать.

– Нет. Сам передай, что захочешь.

Он угрюмо топтался на месте. Что-то неуверенное и одновременно упрямое всё заметней проглядывало в нём.

«Ему сейчас придётся рассказывать всё дома... Своим решением он бросает мать и сестру без защиты, без единственной опоры, на которую они привыкли рассчитывать. Наверняка не обойдётся без слёз и причитаний. А завтра в эту войну снова включусь я, найду нужные слова».

– Зайди ко мне утром, ладно? – я просительно задержал рукопожатие, грустно заглянул Расти в глаза, не скрывая и сознательно пугая его этой своей грустью, словно мы виделись в последний раз.

Он угукнул. Но этого его «угу» мне было недостаточно.

– Пообещай мне, – я пытался поймать его взгляд, закрепить этот щедедушный договор. Ведь лишь взяв с него слово, я мог быть уверен, что увижу его до того, как он сделает окончательную глупость.

– Да зайду! – он нервно выдернул свою руку из моей. – Что ты... как будто я вешаться собираюсь!.. Ненормальный ты какой-то...

Зло топая, он зашагал по ступенькам, а я смотрел ему в спину, печально осознавая факт прощания. Задумчиво глядя на закрывшуюся дверь, я впервые поймал себя на мысли, что не хочу идти к Вегасу, что без Расти это будто теряло всякий смысл. После душевной, удручающей реальности полицейского участка весь этот разбойничий азарт, которым мы так вдохновенно «болели», вдруг куда-то испарился. Как крысы мы копошились в тёмных делишках Вегаса, промышляя мелкими грабежами и кражами. Ловко растыканные им по местам, никогда не видевшие всей схемы целиком, делали только то, что поручали и не знали, что кроется за всеми этими, казалось бы, не связанными между собой, иногда довольно бестолковыми заданиями. Вегас вертел нами как хотел, закармливая до одури воровской, криминальной вседозволенностью, подсаживал на наркотик крутизны и сплочённости. Ловко вылавливал в каждом из нас сверкающую ниточку авантюризма, чтобы дёргать за неё снова и снова. И ничего захватывающего в этом не было. Совсем ничего.

«И почему я раньше этого не видел?»

Я встряхнулся. Нужно было идти, и я уже опаздывал. Вегас, несомненно, разведал, что нас сегодня выпустили, а потому не пойти я не мог. Меньше всего мне хотелось внезапно

увидеть его среди ночи на пороге с ненужными, опасными, каверзными вопросами. И потому, как бы я ни хотел поскорее увидеть Венецию, приходилось через силу тащиться на свидание к Вегасу.

Издали я посматривал на старые доки, где мы обычно толклись. Похоже, уже все были в сборе. Только один мальчишка, из новеньких, торопливо перебежал улицу, заметно волнуясь из-за своего мелкого опоздания, юркнул в дверь.

Неужели и я был так же жалок? Принципиально дисциплинированный, отвыкший задавать лишние вопросы гораздо раньше, чем попал к Вегасу, никогда не создававший проблем, максимально послушный, я служил ему как полководцу, сильному и уважаемому лидеру. Это не было преданностью, почти слепой, как у Расти когда-то. Скорее, проявлением уважения к самому себе – никого не подводить, не предавать оказанного доверия. Тщательно и размеренно я поднимал свой уровень в шайке, с самого первого дня понимая, насколько зависим в этом от Вегаса.

Я сам влез в эту свору и гордился этим. То, что я так презирал, наблюдая в приюте – все эти сбивания людей в стайки, группки, во что угодно, просто потому, что так надёжней, потому что слишком страшно быть одному – мало ли кто захочет тебя обидеть, такого слабого, но самолюбивого? – вот именно это и поймало меня здесь. Стая крупнее, вожак сильнее, а так – всё то же самое. Но если детская жестокость развлекалась лишь периодической травлей почему-то не понравившихся новичков и мелкими пакостями «надзирателям», то тут всё было намного серьёзней. Только сейчас я вдруг подумал, что абсолютно не представляю, чем занимается сам Вегас. Насколько ужасна общая картина деятельности нашей банды?

Иногда приходили какие-то мрачные, молчаливые типы, шептались с Вегасом, пугали и восхищали нас своими татуировками и взглядом из-под бровей. Бывало, они брали меня с собой водителем или «сбегай-посмотри» на какие-то загадочные, пленяющие таинственностью задания. Но лишь я выполнял своё мелкое поручение, Вегас тут же меня отсылал. И ни разу не возникла у меня мысль проследить, докопаться наконец-то, насколько далеко заходят такие вот «подарки для прокурора». Я любовался этим послушанием, радовался, что так легко справляюсь с любопытством. И моему самомнению непомерно льстило то, что Вегас, определённо, ценил это во мне. Что даже Расти – старше и опытней – не попадал на эти вылазки так часто, как я. Но может, именно потому, что Расти рассмотрел бы гораздо больше, чем я, Вегас и выбирал не его?.. Как незаметно и умело застегнули этот ошейник гордыни на моём горле...

Из странной, принципиальной вредности, вдруг выскочившей во мне, я дотянул своё опоздание до какой-то совершенно невероятной черты. Но всегда ворчливо-дотошный, помешанный на пунктуальности Вегас будто и не заметил. Конечно, не каждый день и не каждый из нас попадал в лапы закона, и это, безусловно, было мощным оправданием... Вот только оправдываться я вовсе не собирался. А Вегас и не дал мне повода, ни единого шанса на маленький, праведный бунт. Да уж, в хитрости не мне было с ним тягаться. Как обычно, он раскладывал свои «счастливые» карты, пытаясь изобрести какую-то беспроигрышную комбинацию раздачи в покере. По слухам, кличку он так и получил – всё мечтал сорвать миллионный куш в каком-нибудь казино.

– О, а мы уж гадаем, не запытали ли тебя там до смерти?

Он радостно хлопнул меня по плечу – редкая, почти уникальная «премия». Ай да Вегас!..

Томная зависть в глазах «мелочи» вздыбила моё неуёмное, жадное до обжорства тщеславие.

Господи, как же несказанно сложно бороться с собственной слабостью, чем бы она ни была рождена! Но теперь я так легко не сдавался. Нет, Вегас, придумывай что-нибудь действеннее, чем приевшееся, ложное благоволение...

Будто закрепляя за мной звание фаворита, он приветливо улыбнулся:

– Рад, что выбрался.

Выбрался?! Это он решил так пошутить? На мне висели обвинения в попытке угона и сопротивлении при аресте, и всё ещё было неизвестно на скольких камерах во скольких «шалостях» я успел засветиться. Не дай бог, до суда копы нароют ещё что-нибудь занятное. Такими темпами я стану тюремной легендой гораздо раньше, чем Вегас соизволит снова похлопать меня по плечу. А он назвал это «выбрался»?!

Как будто совсем новыми глазами я осмотрел всё наше разномастное, целенаправленно разбитое на нечто вроде каст сборище. Пара обдолбышей – информаторы, рыскающие по округе, вылавливающие сплетни и слухи в самых грязных уголках улиц. Восторженные «искатели приключений», ленивые авантюристы вроде меня, для которых всё это – скорее, увлекательная, замысловатая забава, наркотик преступности, от которого, как им кажется, с лёгкостью и в любой момент можно отказаться. Малолетки, большинству из которых просто некуда было идти, прибежавшие на запах тёмных, запретных соблазнов общественного дна, с завистью и беспокойным трепетом смотревшие на всех, кто повыше, посильнее, бойко мечтавшие перейти в касту поважнее и теперь глупо благоговевшие перед моей меткой «побывавшего в наручниках».

«Боже, неужели и я был таким же?..»

Был? Почему «был»? Разве ещё пару дней назад я не глазел с вот таким же слюнявым восхищением на тех, кто шепчется с Вегасом, кто проворачивает вместе с ним что-то интересное, по-настоящему серьёзное? Разве не манили меня все эти лёгкие деньги, радующие больше, чем любые заработанные, найденные, подаренные? Именно потому, что не заработаны, потому что незаконны...

Если подумать, то всем нам просто не хотелось искать в жизни что-то большее – лучше, честнее, а потому труднее, – чем эта отвратительная возня в собственной подлости.

– Расти где? – Вегас «наивно» смотрел на меня. После часа ожидания этот вопрос был самым бессмысленным из всех.

Я не стал вдаваться в подробности:

– Не придёт.

Вряд ли этот короткий, очевидный ответ удовлетворил всеобщее любопытство. Но опытный и хитрый Вегас не стал допытываться.

– Ладно, сегодня обойдёмся без него. Есть дело, – он вдохновенно оглядел всех, знаком отбирая тех везунчиков, кому готов был доверить это своё «дело». – Джей, давай за руль. Подробности по дороге.

Я не поверил своим ушам. Дело. С Вегасом. Да неужели?!

Скажи он это на несколько дней раньше, я бы хлопнулся в счастливый обморок прежде, чем рвануть к машине. Я бы молился, только б он не унизил меня, внезапно передумав. Но последние два дня изменили во мне что-то, и изменения эти были гораздо сложнее, чем я даже подозревал.

Я не двинулся с места.

– Ты серьёзно? – сам от себя не ожидая, как-то нервно спросил я. – Вегас, я 50 часов торчал в участке, две ночи на нарах. На мне обвинение в угоне. Половина копов района скоро будет здороваться со мной на улице. А ты хочешь перезнакомить меня со всеми остальными? Я всё правильно понимаю?

Что-то новое, дерзкое и хладнокровное поднялось в этот странный момент в моей душе. И этого Вегас, несомненно, не ожидал. Его безотказная ловушка в первый и единственный раз не сработала. Он, угрожающе склонив голову набок, медленно подошёл ко мне. Я не выполнил его приказ, да не просто не выполнил, а ещё и речь успел толкнуть. Остальные заинтересованно притихли, наблюдая за этой игрушечной революцией. Вегас безжалостно испытывал мою стойкость, зло и грубо давил взглядом. Но что-то примитивное во мне, что-то, что,

прижимая сердце к лопаткам, от страха уже почти забилося в тёмные, неизведанные уголки сознания, вдруг как будто сломалось, просто исчезло. Слишком часто и страшно пугали меня за последнее время, а тот коп со своим сюрпризом обвинения в убийстве был куда убедительней Вегаса с его натренированным взглядом. Мне вдруг надоело пугаться, просто быть здесь. Надоело смотреть на Вегаса, играть в эти нелепые, скучные глупости. Я устало и безразлично выдерживал его взгляд, и он это понял.

– О, точно. Не подумал, – он вдруг расслабился, с дружеским участием протянул мне руку. – Отдыхай, после поговорим.

Весело прищурившись, он улыбался, и эта улыбка могла бы обмануть кого угодно. Но не меня. Маниакально самолюбивый, фанатично и ревниво обожающий свой сан главаря, Вегас никому не прощал попыток его задеть. Только что я стал его врагом, и это было очень и непредсказуемо опасно. Особенно учитывая, что я совершенно не представлял, на что он способен в мстительной, расчётливой ненависти. Я мог бы соврать себе, что не боюсь, но эта моя теперешняя апатичная усталость когда-нибудь пройдёт. И вот именно тогда Вегас не упустит случая набросать мне лишних проблем. К тому же была ещё Венеция. Ею я просто не мог рисковать.

«Надо будет отправить её домой, там Вегас до неё не дотянется».

Я машинально ухмыльнулся в душе от этой игры в слова – какое-то противостояние двух городов получилось.

– Нет, если я тебе нужен, только скажи. Сам знаешь... – я постарался сгладить острые углы этого конфликта насколько было возможно; неуверенно переминаясь, смотрел с наигранной преданностью.

Вегас, кажется, раздумывал, стóит ли утопить этот мятеж в крови прямо сейчас.

– Нет, – авторитетно заключил он. – А то засветишься перед каким-нибудь копом, только всё испортишь.

Позорная казнь была отсрочена. Тем хуже. Я не сомневался, что Вегас найдёт время и вдохновение изобрести что-нибудь особо циничное.

– Хорошо, как скажешь, – по методу Расти я перевернул факты вверх ногами. Теперь получалось, что Вегас сам не разрешал мне поехать с ними. Вегаса этот трюк, конечно, ни капли не обманул, но для малолеток, открывших рты на наши разборки, сойдёт.

Так нехитро подкормив высокомерие Вегаса, выиграв немного времени на побег, я смотрел на удаляющиеся огни машины и надеялся, что никого из этих людей больше никогда не увижу. Любой из них, кроме, пожалуй, самого Вегаса, скорее всего, сдаст всех и вся, едва лишь ощутит металл наручников. Почему-то я раньше об этом не думал. А зря.

«Как же осточертел этот зловонный крысятник! Прощай, Вегас...»

IX

Венеция, визжа, бросилась мне на шею. И почему девушки так любят раздирать нам уши своими безудержными, умилительными в этой откровенности эмоциями? Но даже оглохший я был безмерно рад обнять её. Казалось, целую вечность я ждал этого момента... Как же приятно было смыть с себя всю эту полицейско-тюремную вонь, целовать Венецию, вкусно пахнущую чем-то клубничным, чувствовать её – такую тёплую и гибкую – под боком. Положив голову мне на плечо, она тихо дышала, создавая иллюзию спокойного счастья.

Как бы я хотел, чтобы вот так и закончилась вся эта история...

Только неутешительной реальности на мои желания было наплевать. Уже завтра, хочу я или нет, но придётся выбрать, по какой дороге предстоит топтать дальше. И оба предлагаемых варианта были мне одинаково отвратительны. Тюрьма или казарма. Казарма или тюрьма. Я почти не видел разницы. Для Расти деньги и снятие обвинений были достаточными причинами, чтобы определиться быстро и уверенно, волевым решением смиряя сердце с выбором. В этом я почти завидовал ему – вот этой власти над собой, умению управлять эмоциями, приказывать самому себе и беспрекословно слушаться этих приказов. Моя же нервная душа кидалась из стороны в сторону, хватаясь то за один аргумент, то за другой, тут же бросая их оба, чтобы через секунду снова схватить и снова бросить. Как мартышка на поводке, бестолковая и взбалмошная, она изводилась в этих трусливых мучениях, страдая от неспособности сделать наконец-то выбор, отважиться и прекратить эту безобразную пытку сомнениями. Я презирал сам себя за эти вздорные метания. Тюремная камера на несколько месяцев с тёмным, невнятным будущим после? Или казарма, рабское подчинение на долгих три года, с нависшим ужасом отправки в какую-нибудь «горячую», закипающую людской ненавистью зону? Слово «война» пугало до дрожи в аорте. Узаконенное убийство, право спустить курок, лишить кого-то того, чего лишать не в праве – жизни, будущего, здоровья... И не потому что захотел, взбесился, а потому что приказали. Ад на земле, одна только путёвка в который уже жгла руки...

Если для Расти шанс погеройствовать в пыли и грохоте взрывов был ещё одним аргументом «за», то я, с моим нынешним везением, боялся даже представить себя в военной форме. Само собой, первая же пуля станет моей, а я этого ох как не хотел. Сдохнуть в 19 лет – это совсем не то же самое, что отсидеться за колючей проволокой. Приспосабливаться и жить в человеческих «зверинцах» я научился давно. Максимум, что могло грозить мне в тюрьме – пара зуботычин от особо рьяных поборников кулачного лидерства. Фигня. Разобью кому-нибудь нос, найду нишу, в которой смогу спокойно существовать, привычно и по возможности тихо отсижусь в сторонке. Со своим обвинением к матёрым и действительно опасным я не попаду, а с мелочью вроде меня я знал, как справляться. Не курорт, конечно, но и страшного особо ничего не виделось. Рассмотреть это страшное получалось, как это ни удивительно, уже после заключения...

Может и прав этот сержант со своей «страной больших возможностей»? Я постарался перестать врать хотя бы самому себе.

Что ждало меня на коварной, скользкой дороге Вегаса? Коварной именно тем, что талантливо и умело прятала свои смертельные ловушки, что опасность на ней была незаметна ровно до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Удача уже подвела меня. Пока не очень серьёзно, но было бы сумасшествием наивно надеяться, что она проведёт меня за руку мимо всех неприятностей и каким-то чудом подарит моей бандитской карьере некий сказочный финал, в котором не будет формулировки «убийство» или «передозировка».

За лёгкие деньги всё равно придётся платить, и очень скоро плата только свободой мою судьбу уже не устроит. Совесть, душу, жизнь – что из этого я готов буду беспечно отдать за криминальную, воняющую разложением романтику? И насколько вообще реально сойти с этой

дороги живым и по собственной воле? Насколько сильно шагнуть из тюрьмы в нормальную жизнь? Да и надолго ли хватит меня тянуть лямку этой «нормальной жизни»? Работать за копейки по 12 часов в сутки, с клеймом уголовника, душить амбиции и гордость, не смея поднять глаза в ответ на оскорбления... Потому что нет и не будет достаточно веских оправданий этому самому клейму. Слезно уговаривать себя, что это жизнь искалечила мою судьбу, загнав за решётку, не дав выбора... Только вот появился этот сержант, принёс в руках какой-никакой, а выбор. И чем теперь прикажете оправдываться? Как быстро я сдамся и вернусь к Вегасу или такому как Вегас? К наркотической зависимости от беззакония. К дерзкой, пьянице-рискованной наглости брать что хочу и когда хочу. К продажной апатии порока... Даже сейчас с приставленным к виску обвинением мне трудно отказаться от этого пути. Что же будет потом, когда увязну в азарте и соглашусь платить за гораздо большие деньги обвинениями пострашнее? Сколько мне понадобится искушения и времени, чтобы дойти до того же, что так ужасало меня в выборе Расти? Как скоро я нажму на спусковой крючок добровольно или по приказу какого-нибудь Вегаса? Насколько легко смогу не отказать себе в этом жутком удовольствии демонстрации силы? Как скоро мне самому приставят дуло к башке? Быть может, если уж позволено выбирать, как убивать, то пусть будет хотя бы одобрено законом? Спасти если не душу, то свободу, честь... Да и гибель в бою, насколько я мог её вообразить, всё же доблестнее, чем быть пристреленным как собака в грязной, омерзительной подворотне...

Как-то вдруг оказалось, что шансы на позорную смерть здесь примерно такие же, как и в локальном апокалипсисе боевых действий. А уж на какой-нибудь мирной, тихой базе они и вовсе сводились к нулю. Да и перспектива быть отправленным туда, где стреляют не по мишеням, была не так уж и отчётлива. Могло ведь и повезти...

Венеция, трогательно постанывая, заворочалась во сне. Она была единственным достойным аргументом остаться здесь. Вот только я совсем не был уверен, что эта избалованная, красивая, раскованная девушка захочет раз за разом ждать меня из тюрьмы. Так что и этот довод рассыпался в руках. Неожиданно – ясно и очевидно – стало понятно, что, пойдя я за Вегасом, рано или поздно потеряю всё и не получу ничего взамен, кроме разве что душевных терзаний и искалеченного здоровья. А главное, я однозначно и безвозвратно лишусь и Расти, и Венеции. Единственных во всём мире людей, которых я мог бы назвать родными. И если разлука с Венецией неизбежна в любом случае, то Расти...

До чего же настойчиво загоняла меня судьба вслед за ним на «тропу героев». Плюсы этого выбора так и выскочили перед моим издёргавшимся сознанием, будто ждали, когда я соизволю уделить им внимание.

Как там говорил сержант? «Снятие обвинений – служба – нормальная жизнь»? Действительно нормальная. С правом на прямой взгляд в глаза, с правом на силу и уважение, честь и гордость. С правом на будущее... Господи, да меня даже копы будут уважать! А это звучало уже невероятно заманчиво.

Я посмотрел на Венецию. Если она готова ждать меня из тюрьмы, то согласится подождать и из армии. Если же нет... то девушкам ведь нравятся парни в форме?

И раз уж я даже для себя самого, несмотря на огромный арсенал трусости и мнительности, не смог найти сильных, достаточных для стойкой убеждённости доводов, доказать себе же выгоду пути Вегаса, то ни о каком результативном увещании Расти не приходилось и мечтать. Разве что встать на колени и умолять, заранее не веря собственным же мольбам, невероятно сомневаясь во всём, что могу ему сказать. Удивительно, но в этот раз своей загадочной, то появлявшейся, то исчезающей интуицией Расти гораздо раньше меня безошибочно угадал верный ответ на эту задачу из двух составляющих. Будто не глядя и совсем не размышляя, ткнул в этот ответ пальцем, вдохновлённый каким-то ниспосланным свыше чувством. И настолько сильно, необыкновенно было это чувство, что я невольно потянулся за ним, поверил сам, пугаясь от этой внезапной и абсурдной для меня веры. Видно, я просто не мог, боялся представить

себе прощание с Расти, его навсегда удаляющуюся спину. Поистине странно, насколько незаметно и крепко, как-то почти по-родственному, я успел к нему привязаться. Особенно странно, если учесть, что первая наша встреча была отнюдь не приятной...

Я жил тогда в очередной приёмной семье. Довольно обычной на фоне некоторых, где мне пришлось побывать до того. Вспомнить было и нечего, кроме, пожалуй, какой-то радужной, детски-восторженной наивности, будто окутывавшей тот дом со всех сторон. Правда, говоря о наивности, я имею в виду только взрослых. Простодушные до какой-то даже глупости, они будто не хотели признавать в нас любые, пусть самые крохотные, невинные зачатки хитрости, лицемерия. Для них мы были детьми, всё ещё незамутнёнными грязью мира созданиями. И мелкие, редко выскакивавшие выходки считались не более чем ребячеством, непосредственностью ещё не разобравшейся в устройстве и правилах мира детской души.

У них был сын лишь на год старше меня. И мы оба, не сговариваясь, отлично понимали, насколько выгодна нам эта доверчивость его родителей. Вежливо улыбаясь, играли навязанные нам роли послушных, бесхитростных до неестественности детей. Он по ночам пробирался через окно к дочке соседей, а я мог уходить когда и куда захочу. К утру мы сползались обратно в нашу комнату, подобрав, отряхивали и снова надевали дневные маски, выполняя единственное нерушимое правило – не ломать моральные родительские устои. Рассовав тайны по уголкам души, повязанные этими общими секретами, мы шли на завтрак, привычно радуя ласковыми, приветливыми улыбками. Такой милый, душевный балаганчик...

Мне нравилось шляться по ночам, наслаждаться той безнаказанной свободой, которую предоставляла эта флегматичная вера взрослых в детское беспрекословное послушание. Впервые я был волен выбирать себе развлечения, опасливо присматриваться к миру вокруг, восторженно и осторожно изучать ночную, особую жизнь города. Вот в одну из таких «экскурсий в мир» я и познакомился с Расти. Хотя, знакомством это можно было назвать с большой натяжкой.

Кто-то сзади резко боднул меня в плечо, и я моментально остался без сумки. Но сегодня этот мальчишка определённо ошибся жертвой. Никогда не страдал замедленной реакцией, а потому даже раньше, чем смог осмыслить сам факт такой нахальной кражи, я уже нёсся за этим прытким малолеткой. Ловко проскакивая среди прохожих, он довольно проворно улепётывал от меня. Но ещё в семь лет в одной семье меня приучили бегать, научили правильно дышать, ставить стопу. И с тех пор мои талантливые ноги не раз выручали меня в разных ситуациях. Потому теперь я не собирался отставать просто так, и если бы знал этот район настолько же хорошо, как он, то догнал бы воришку достаточно быстро. Может, понимая, что не отвяжется, или же следуя отработанному плану, этот маленький разбойник вдруг натолкнулся на какого-то рослого парня, чуть не потерял равновесие, но справился и побежал дальше. Надо сказать, разыграно это было весьма натурально, и я почти поверил. Но именно восхитительная ловкость этого мальчишки, до этого ни разу никого даже не задевшего, а тут, будто слепой, так явно налетевшего на «случайного» прохожего, и подсказала мне разгадку. Некоторые в приюте уже пытались промышлять такими же делами: работали парами – один выхватывает и удирает, чтобы, если не смог оторваться, на заданной точке незаметно передать украденное и, уже ничем не рискуя, увести погоню за собой. Ничего и никого лишнего. Простая, эффективная тактика.

Замешкавшись, я всё равно упустил мелкого и резвого, а потому ничего другого не оставалось, как пойти за высоким. Он рассеяно глазел на витрины, неторопливо брёл куда-то. Издали присматривая за ним, я уже сильно засомневался в том, что правильно рассмотрел всю схему. Не исключено, что мою сумку потрошит в какой-то глухой подворотне тот шустрый, а я глупо и зря хожу за этим парнем, который, возможно, и в самом деле случайно оказался

на пути. Очень неудачно получится, если сейчас радостно прискачет какая-нибудь девушка, и он, улыбаясь, потянет её в кафе или кино. Помимо страдающего самолюбия я получу тогда ещё и позорное унижение. В сумке был хороший и, скорее всего, дорогой нож. И самое обидное, что он был чужим, взятым на время, и я клятвенно обещал его вернуть. Всё остальное я готов был подарить этим наглецам, но вот нож... Смотреть в глаза его хозяину, мямлить какие-то оправдания... Да проще было застрелиться! И потому я упорно шёл за высоким, с одной лишь призрачной надеждой, что интуиция меня не подвела. Девушки не было и, похоже, не предвиделось. Вальяжно гуляя, он уводил меня всё дальше в какие-то тёмные и тихие закоулки. Так мы побродили минут десять. И он вдруг будто вспомнил что-то важное, какое-то срочное дело, быстро зашагал по улице, резко сворачивая в переулки, путая и петляя. Я был неопытен в этих детективных премудростях, а потому не знал, заметил ли он слежку или просто хаотично шатается, по привычке заматаывая следы. Зато теперь я не сомневался, что иду за тем, кем надо.

Наконец, недоверчиво оглядываясь, он заскочил в какое-то здание, то ли заброшенное, то ли недостроенное. Простодушно рискуя нарваться на кулак, я забежал за ним. Стараясь не шуметь, прислушался. В пустом, предательски гулком доме, тихо шуршащем на ветру израненной плёнкой и мусором недавнего строительства, отлично слышались шаги – частые и чёткие на ступеньках и звучные, размеренные на площадках. Затаившись, я считал пролёты. Раз, два, три... Третий этаж, налево... Звонко хлопнула какая-то фанера, скрежещущий, впивающийся в зубы хруст стекла под подошвами... Медленно, не слыша сам себя, я крался за этими звуками, надеясь как-то незаметно проскользнуть, умудриться украсть у вора. Но рассыпанные во всю ширину прохода осколки лишили меня этого шанса. Бесшумно их не обойдёшь, разве что перепрыгнуть, но и тогда незамеченным точно не остаться. Явно не случайно было насыпано здесь это битое стекло – сигнализация, гениальная в своей простоте.

Я нерешительно стоял перед этим тускло сверкающим ковром, напрягая уши, пытался узнать насколько далеко мог уйти мой противник. Понимая, что чем дольше медлю перед этим незамысловатым препятствием, тем меньше шансов догнать его, я отважился и как можно осторожней вдавил ногу туда, где стекла, казалось, было поменьше. Оглушительный хруст взрезал уже ставшую привычной тишину. За стенкой дёрнулся какой-то шорох, едва слышно прошелестело в сторону, притаилось. Моё сердце гулко запрыгало в груди – я даже не предположил, что это здание было чем-то вроде финишной точки, а не простым средством оторваться от погони.

Логично рассудив, что дальше скрываться бесполезно, я протопал по бдительному, звонкому стеклу.

– Мне нужен только нож. Остальное можешь оставить себе, – громко объявил я, стараясь отвлечься от опасности момента, спокойно и по-деловому выкрутиться из этой неприятности.

Промедлив лишь секунду, плечисто заслонив весь проём, мой оппонент вышел на свет. Молча и подозрительно разглядывал меня, пока моё сердце металось внутри, будто искало способ спастись бегством, как трюмная крыса с безнадежно тонущего корабля. Отчаянно струсив от всей этой внушительности, я не побежал из одной только гордости. Чем я мог угрожать этому здоровому, очевидно сильному парню гораздо старше меня и на голову выше? Разве что поломаю ему психику внезапными детски-сопливыми рыданиями... Я обречённо стоял под его взглядом, просто потому, что теперь бежать было не только унижительно, но и глупо. Налюбовавшись моей терзающейся страхом особой, он развернулся. Слезно умоляя удачу помочь мне, я собрался с духом и прошёл вслед за ним вглубь большого, пустого помещения с заботливо затянутыми плёнкой, хлопающими на ветру проёмами окон.

Всё так же ни слова не говоря, он разом вывалил из сумки всё содержимое на пол. Брезгливо поковырял носком ботинка эту жалкую грудку моих ценностей, отделил заметный и красивый складной нож. Не наклоняясь, с высоты своего роста серьёзно разглядывал эту вещичку,

качая головой то вправо, то влево, как внимательная собака. Видимо, так и не уяснив, отчего именно эта штукавина была мне настолько дорога, он снова уставился на меня.

– Этот, что ли? – он небрежно подвернул ножик ногой.

Я легкомысленно сунулся было подбирать своё сокровище, но тут же отлетел к стене. Он толкнул меня сильно, но без злобы, скорее, просто не рассчитав свою силу и мою хилость. Но моим синякам от этого легче не стало.

– Отдай, – почти взмолился я, чувствуя приближение стыдных слёз обиды.

Он с циничным равнодушием пожал плечами:

– А ты забери. Бейся за то, что считаешь важным или наплюй и беги.

Правильно оценив мои шансы против его силы, он баловался с прописными истинами, которые где-то вычитал, забыл, где и когда, и теперь носился с ними, воображая, что сам сочинил эти нравоучения.

В прямой, честной драке я был слаб и абсолютно беспомощен, и пары ударов мне вполне хватит, чтобы «наплевать и бежать». Вот только переть лоб в лоб на этого самоуверенного парня я и не собирался. Пока я соображал, что бы такого выдумать, подсуетился мой ангел-хранитель. Вдруг что-то лязгнуло, и какие-то стальные прутья, – может, от ветра, а может, судьба их была спасти меня, – оглушительно пугая звонкостью, с грохотом посыпались в дальнем углу. Парень рефлекторно развернулся. Что-то во мне перемкнуло, и я, разбежавшись, толкнулся всем своим весом ему в спину, одновременно спутывая его ноги своими, лишая равновесия, грузно завалил на пол. Вцепившись, как зверёк, в его локти, не давал вырваться, не соображая, что делать дальше с этим агрессивным, сильным пленным, и заранее пугаясь его раздражённого гнева. Это был один из тех частых и обидных тупиков, когда действуешь под влиянием какого-то импульса, а после не знаешь, что делать со всем тем, что так лихо натворил. Куда проще было бы схватить нож и рвануть вниз, полагаясь на скорость и выносливость. Почему вместо такого самого логичного решения я вдруг кинулся на этого здоровяка, для меня до сих пор оставалось загадкой. Наверное, моё психованное самолюбие не смогло простить ему того грубого пинка, унижения до слёзной, но тщетной просьбы...

Пыхтя, мы катались в пыли, оба одинаково беспомощные – я от трусости, он от внезапно ставшей бесполезной силы. Я искусственно уравнивал наши шансы своей вертлявой ловкостью, и неизвестно, сколько б мы провалялись в этом тупике, если бы вдруг какая-то неведомая сила не сгрэбла меня за шкуру. Я тут же отпустил руки, прекрасно понимая, что незаметно в наш спор ввязалась какая-то третья сторона, и вряд ли она была дружественной мне.

Меня швырнули на пол, и я благоразумно остался лежать, наблюдая, как человек десять заинтересованно толпятся вокруг, и рассчитывая, что некий кодекс чести не позволит им избить лежащего.

– Ну и какого хрена тут происходит? – угрожающего вида человек, самый старший из всех, удивлённо и требовательно смотрел на нас. – Расти, это кто вообще такой?

Надежда, что эта третья сила случайна, нейтральна, а потому можно будет переманить её на свою сторону, умерла сама собой.

Расти хмуро отряхивался.

– Без понятия, – угрюмо пробурчал он. – У него сумку спёрли, вот он и пришёл.

Взрослый неуверенно посмотрел на меня, будто оценивая степень наглости, нужной мне, чтобы вот так взять и прийти.

Но что-то у него не складывалось:

– Стоп-стоп, что значит «пришёл»? За тобой? Ты сам, что ли, у него сумку дёрнул?

Расти разозлился, догадываясь, как невыгодно выглядит перед главарём:

– Я ещё умом не тронулся, чтобы самостоятельно сумки сдирать. Дёрнул мелкий, всё как обычно, но этот как-то просчитал и притопал за мной сюда.

Отшлёпывая пыль с одежды, он неприязненно смотрел на меня. Видимо, я портил его репутацию, а это в свою очередь здорово ухудшало и моё положение. Всё так же, лёжа будто на пляже, я отдыхал, собираясь с силами, чтобы хотя бы суметь удрать, если представится такая возможность. Похоже, моя дальнейшая судьба перекочевала в руки этого допытливого взрослого.

Снова и уже всерьёз внимательно осмотрев меня, он спросил:

– Ты чей?

Я поморгал, пытаюсь осознать, что значит этот вопрос.

– Ничей, – ничего лучшего в качестве ответа просто не подвернулось.

Он вдруг цепко и пугающе резко рывком поставил меня на ноги. Остальные тут же без всяких команд обступили нас плотным кольцом – определённо, я был не первым «военнопленным» в их практике.

«Если начнут бить, надо сразу падать», – бестолково подумал я, сам не понимая, как собирался падать, надёжно прихваченный за шиворот этим взрослым, сильным – гораздо сильнее меня – человеком. Утешало только то, что бить пока, кажется, не собирались.

Он потянул меня к свету, дотошно рассматривал, сосредоточенно пытаюсь вспомнить, где мог меня видеть. И не вспомнил. Потому что не видел.

– Его кто-нибудь знает? – обернулся он к остальным.

Чувствуя себя диковинным, беззащитным зверьком в зоопарке, я терпеливо предъявлял себя этой гурьбе зрителей. И я их, и они меня видели впервые в жизни.

– Ну и что ему было нужно? – как-то ни к кому не обращаясь, спросил этот разбойничий атаман. Так и не рассмотрев во мне несуществующую опасность, он всё ещё не отпускал меня, но уже скорее из какой-то задумчивости.

– Мне нож нужен. Он чужой, и я обещал его вернуть, – я всё же попробовал воспользоваться этим последним мирным способом получить желаемое.

Он отпустил меня так же резко, как и схватил, и если бы не обступивший нас народ, я вполне мог бы и упасть.

– То есть он просто пришёл сюда за каким-то вшивым ножом, который вы с мелким у него стырили? – он всё ещё не верил такой обыденной причине моего пребывания здесь. По всей видимости, именно наивная простота этого пояснения и не давала его подозрительности угмониться, и теперь он требовал подтверждения у Расти.

Расти кивнул. И этот кивок будто стал каким-то сигналом. Закинув голову, вожак засмеялся, весело и непринуждённо.

– И этот детёныш извозил тебя по полу? *Тебя?! Страхно* подумать, что он вообще мог с тобой сотворить, если бы мы не подросли, – он давился смехом, задорно и громко унижая Расти своей радостной издёвкой. – Надеюсь, он тебя не покусал? А то может, прививки какие надо сделать? Не дай бог, заразное что-нибудь... Начнёшь чахнуть, станешь таким же заморышем, как он. Ещё и сам кого покусает. Караул просто! Устроишь нам тут эпидемию агрессивной хилости... – вытирая слёзы весёлости, он смотрел на Расти, краснеющего и злящегося.

Исколотый этим смехом, стеснительными улыбочками окружающих, Расти наконец разъярился.

– Вегас, чего ты на меня смотришь?! Откуда я мог знать, что твой быстроногий сайгак не оторвётся от этого дохляка?!

Моё самолюбие тут же нервно взвилось, обзлившись на «дохляка», но я шустро затолкал его обратно, бросив кость комплимента моим беговым талантам. Не хватало только, воспользовавшись ситуацией, неосторожным гневом добровольно записаться в камикадзе.

Вегас, всё ещё посмеиваясь, подошёл ко мне вплотную.

– Ну да, кто ж знал, что на спортсмена нарвётесь, – он иронично смотрел на меня. – Спасибо, повеселил дядю. Но знаешь, малыш, – его глаза вдруг стали жестокими и опасными,

неимоверно ужасая именно этой мгновенной, необъяснимой резкостью смены настроения, – у нас тут не благотворительный фонд. Развернулся и помаршировал отсюда. Быстро, – он двумя пальцами остро ткнул меня куда-то под сердце. Немного больно и очень неприятно.

Машинально вздрогнув, я остался стоять на месте, как будто перестав понимать слова. Привычка из последних сил добиваться своего, раз начав, пусть мучительно, но дотягивать дело до конца, не давала мне сдаться. Я просто не мог всё бросить вот так, вложив в это уже столько усилий, взять и уйти ни с чем. Редкий момент, когда упрямство отправило трусость в отставку. Жаль, что на время.

Пауза рискованно затягивалась. Я чувствовал напряжение Вегаса и всё равно продолжал смотреть на Расти почти умоляюще. Он расслабленно подбрасывал в ладони нож, и тот, попадая иногда в луч света, ослепительно, недостижимо вспыхивал.

– Лови, – вдруг совсем спокойно, буднично сказал Расти и перебросил мне эту игрушку.

Неловко и суетливо от неожиданности я поймал этот чужой и потому такой драгоценный кусок металла. Но, не дав мне обрадоваться, Вегас тут же бестактно забрал его у меня. Лениво осмотрев, легко и виртуозно поддел пальцами, и нож раскрылся, выбросив лезвие. Сверкающее и опасное оно было прямо перед моим лицом, светлой полоской отражалось в жёстких, бесчувственных глазах Вегаса, оттеняя их стальную холодность. Я не мог знать, насколько страшной бывала злая, извращённая фантазия этого человека, насколько изобретательной была его грубость. А потому лишь не мигая, чутко кося глазами, следил за этой блестящей опасностью, заранее и невольно навоображав всякие кровавые ужасы.

Вполне насладившись моей робкой тревожностью, Вегас так же равнодушно свернул нож, молча, почти вежливо вложил его в мою руку, развернул за плечи к выходу и ненавязчиво придал ускорение пинком.

... Вот так я с ними и познакомился – Расти и Вегасом. Как странно было сейчас осознавать то, что судьба непредсказуемо сделает одного лучшим, единственным и надёжным другом, а другого я сам сегодня оформлю врагом – мстительным, жестоким и настойчивым в злости.

Позже Расти рассказал мне, что Вегас отправил одного из своих «бегунков» проследить за мной тогда, или рассмотрев мою полезность для своих дел, или так и не поверив до конца, что я никем не заслан, а пришёл в их логово по собственной глупой воле. Что бы там ни подвигло Вегаса на эту слежку, только я, счастливый, что вырвался, спешно удирая, торопился по своим делам и сам собой легко оторвался от этого «хвоста». Именно потому почти месяц я про них ничего не слышал и даже успел позабыть этот несколько удручающий эпизод. Жил своей жизнью, усвоив тот урок, удвоив бдительность. Ещё внимательней присматривался к лукавым уличным сетям, тайно раскинутым по закоулкам, замысловатым и интересным для тех, кто научился их видеть. Может, я так навсегда бы и остался для улицы посторонним, лишь любопытствующим наблюдателем, достаточно осторожным, чтобы не лезть слишком далеко и слишком часто. Если бы не случайная – действительно случайная для нас обоих – встреча с Расти. Мы как-то неожиданно столкнулись глазами, будто только того и ждали всё это время, тренировались и готовились, чтобы секунда в секунду, одновременно упереть друг в друга взгляды. Он сел напротив, и по его лицу абсолютно ничего невозможно было угадать. Лишь бесспорная хладнокровная уверенность в себе, молчаливая сила, которая могла сорваться в бешенство в любой момент от любого слова или не сорваться вовсе... Тут уж как повезёт...

– Помнишь меня? – без приветствия, совершенно спокойно спросил он, но моя паранойя уже успела разглядеть угрозу в этих простых, тихих словах.

Я кивнул – ещё бы я его не помнил!

– Опять грабить будешь? – я дерзил и бодрился, прекрасно зная, как опасен страх, очевидный для врага.

Он вдруг смутился, как будто сказал какую-то мерзкую пошлость и, только уже сказав её, понял, насколько это гадко. В мои планы совсем не вписывалось утешение его совести, а потому я тогда просто ушёл, не желая затягивать такое сомнительное знакомство. Но через несколько дней он снова появился на моём жизненном горизонте. На этот раз он держался на расстоянии, просто наблюдал. За домом, за семьёй, в которой я жил, за мной. Я всерьёз всполошился от этих шпионских потех. Именно из-за них я и вернулся тогда в приют, из-за этого моего боязливого стремления жить в тени, тайно и безопасно, здороваясь с миром только тогда, когда сам того пожелаю. И этот взгляд в спину, эта странная слежка, объяснить которую ничем, кроме рыскающей мести, я не смог, – именно это и спугнуло меня, вынудило сбежать из того удобного дома раньше, чем я рассчитывал. Но своего я добился – они надолго потеряли меня из виду. Им и в голову не приходило, что та семья была мне лишь временным прибежищем, и что при желании я могу вот так непредсказуемо и лихо улизнуть от них, гонимый подозрительностью. Но этими своими выкрутасами я и привязал, сам того не предполагая, интерес Вегаса к себе прочно и надолго. Как опытный тренер в подающем надежды ученике, он зорко рассмотрел во мне то, чем так умело пользовался сам – именно эту неожиданность ходов, интуитивную способность путать противника. С того момента я стал ему любопытен и ценен. А Вегас точно был не из тех, кто легко отказывался от собственной заинтересованности в ком-то или чём-то.

Но тогда я этого не знал и не мог знать.

Уже в конце года, перед самыми праздниками я снова натолкнулся на Расти. Но теперь он меня, несомненно, поджидал, а скрыться – достаточно быстро и незаметно – мне было негде. Стараясь не пугать мою обострённую мнительность лишним раз, он медленно подошёл, уже издали протянул мне сумку – ту самую, так бесцеремонно украденную в том закоулке. Не веря этому своеобразному подарку, я растерянно заглянул внутрь. Всё было на месте, до последней мелочи.

– Извини. У сирот не воруют, – лаконично сказал Расти, и создалось впечатление, что извинения эти были заранее подготовлены, продуманы и искренни. – И прости, что ударил тогда. Это я зря...

Он виновато склонил голову. Никаких лишних слов, эмоций... Будто какой-то редактор, притаившийся в его душе, почёркал всё ненужное, шумное, болтливое и мешающее, оставив лишь краткое, трогательное в своей простоте послание раскаяния. Пожалуй, это выглядело забавно – большой, высокий Расти, робкий как провинившийся ребёнок, и я – неумолимо строгий, заметно уступающий ему в силе и росте, к тому же всегда выглядевший намного моложе и без того небольших своих лет.

– Не ударил, а толкнул. Так что ничего, – я наконец-то соизволил завизировать наше мирное соглашение.

Этот чудной парень напротив сильно меня удивил умением так чистосердечно и откровенно признавать свою вину даже в давних, остывших разногласиях, озадачил тем, что почему-то педантично сохранил и вернул всё моё барахло, потерю которого я уже успел оплакать и забыть. Именно тогда впервые я и разглядел в нём странное, скрытое необходимостью и обстоятельствами, но действительно огромное благородство. Странное потому, что подчинялось оно каким-то особым правилам, личному кодексу, независящему от внешних законов и морали. Так получалось, что сирот грабить нельзя только потому, что у них нет семьи, а, например, хилого кассира на заправке можно, потому что он не сирота. Что ударить позволено человека, но не собаку. Что женщину ударить можно, только если она будет тебя уже почти убивать, так сказать, в виде самообороны; а парня – неважно, слабого или нет – за любое слово, просто от настроения иногда. Что скрывать правду можно от кого угодно и сколько угодно, порой просто так, вовсе без причины, но лгать нельзя и на прямой вопрос отвечать

нужно честно, если только он задан не копом или кем-то вроде копа. Полиции и вообще государству врать можно и нужно...

Все эти оригинальные, безалаберные на первый взгляд правила и делали Расти тем, кем он был для меня – другом, который, – и я точно это знал, – не подведёт, поможет в несчастье, даже если ему самому это будет невыгодно. Несмотря на частые, пугавшие окружающих своим неудержимым, но кратким буйством, будто вспыхивавшие ссоры, подчас доходившие почти до какого-то нетерпения – мгновенного, но на это мгновение граничащего даже с ненавистью, аффектом бешенства. Каждый раз, пытаюсь объективно изучить нашу дружбу, понять, что держит нас вместе, я неизменно спотыкался о знаменитый закон единства противоположностей. А разными мы с ним были до комичности, до абсурда. Но именно эта потрясающая разность темпераментов и природных данных, похоже, и была тем фундаментом, на котором держалось наше братство для двоих. И за сохранение этой ценной для меня дружбы теперь пришла пора бороться. Буквально. Взяв в руки оружие и обрядившись в камуфляж...

Х

Проснулся я необычно поздно. Не открывая глаз, всё ещё счастливо-томный от сна, слушал возню Венеции, мурлыкавшей какую-то песенку. Я следил сознанием за её деликатными, уважительными к чужому покою шагами, мягким шорохом одежды. Нежно, едва слышно звякнули какие-то склянки, и она, тихо ойкнув, засмеялась этой только ей известной неловкости. Я открыл глаза. Венеция вертелась перед зеркалом, переставляя в загадочную, понятную лишь ей последовательность толпящееся стеклянно-зеркальное косметическое множество, зачем-то необходимое каждой девушке. Почувствовав моё движение, она оглянулась и засмеялась уже в голос.

– Ты опять храпел, – она почему-то всегда сообщала это как некую праздничную весть. Потому я никак не мог сообразить, нравится ей это или нет.

– Чудесно... – невнятно оценил я эту новость.

Валяясь, обнимая подушки, я выветривал из головы остатки сна и наслаждался тем восхитительным ощущением нового дня, которое иногда неизвестно отчего вдруг загорается в сердце. Странное, весёлое и хрупкое чувство, что мир создан не зря, что ты сам в нём не зря, что есть у всего этого какая-то прекрасная и важная причина, и что жизнь твоя кому-то и для чего-то обязательно нужна.

Венеция подкралась как кошка, с ласковым лукавством склонилась к самому лицу, щекоча волосами по щекам.

– Обожаю твой сонный голос. Такой сексуальный... – губя мою душу искушением, она была так близко, что почти касалась губами.

Не ища в себе сил сопротивляться этому жаркому, зовущему дыханию, я попытался поцеловать её, но тут же схлопотал подушкой по голове. Отпрыгнув, она баловалась, радостно восторгаясь тем нежным коварством, с которым только что заманила меня в свою безобидную ловушку. И я счастлив был попадаться так снова и снова, лишь бы слышать её весёлый, беззаботный, заразительный смех. Отплёвываясь от пушистой пыли, раздражённый Венецией я не мог налюбоваться ею, всей этой тихо нахлынувшей радостью, будто укутавшей мою душу в это утро. И снова ни в чём не был уверен... Так не хотелось ничего менять, отпускать Венецию, просыпаться где-то далеко без всякой надежды и возможности быть разбуженным вот так её смехом.

Моя безмозглая мартышка неуверенности проснулась вместе со мной и снова принялась забрасывать меня сомнениями. В тюрьме хоть будут свидания...

– Скажи, тебе нравятся парни в форме?

Венеция удивлённо развернулась, при этом вовсе не потрудившись оторвать стопы от пола. Так и стояла, Х-образно скрестив ноги. Всегда недоумевал, как девушкам не больно, а даже комфортно во всяких таких вот перекрученных состояниях.

– Уборщики-строители? – она забавно похлопала ресницами, всё ещё дурачась.

Я засмеялся:

– Вообще-то я представлял кое-кого посolidней. Военные, полиция...

Чуя несуществующую западню, она кокетливо заулыбалась:

– Да, нравятся...

Малодушно отдав судьбе право решить за меня, я получил ответ.

– А что? Ревнуешь? Думаешь, мне понравится какой-нибудь коп из тех, что пытаются тебя упрятать? – она, хитро прищурившись, дразнила мою ревность, игралась с ней, как с привычно безобидным питомцем.

– Нет, – весело сообщил я и, кажется, немного разочаровал. – Просто в армию иду.

Она засмеялась этому как шутке. Резвясь и проказничая, с разбегу прыгнула на кровать – когда-нибудь она меня покалечит такими вот трюками. Изловчившись, я кувыркнул её на себя. Шутливо отбиваясь, она всё смеялась, а у меня звенело в голове от её близости, хохота, восторга, страха...

Звонок как-то стеснительно звякнул, будто знал, насколько неуклюже вмешивается в наши шалости.

Венеция ахнула:

– Совсем забыла! Это Расти. Он звонил, сказал, что зайдёт.

Суетливо хватая одежду, она носилась по комнате. Когда всё это бесчисленное количество чего-то кружевного и не всегда понятного было собрано, и она упорхнула в ванную одеваться, я поплёлся открывать.

Расти, мучаясь от ожидания, как-то обречённо подпирал стенку, будто догадываясь, что я успел абсолютно забыть про него, про собственную же просьбу зайти. И теперь стоял под дверью и обижался на эту мою бестактность.

– Я уж думал, вас нет. Чего так долго?

Настроение у него было так себе. Похоже, даже хуже чем плохое.

– Ну, я не виноват, что судьба дала тебе дивный дар являться не вовремя, – я попытался поделиться с ним своим хорошим настроением. Но безрезультатно.

– А, ясно, – сурово осмотрев мою взъерошенную, растрёпанную персону, он прошёл мимо меня. – Давай тогда побыстрее. Чего хотел?

Такая непробиваемая, выносливая мрачность была для него большой редкостью. Я начал волноваться.

– Расти, ты чего злой такой? Что-то случилось?

Но он вдруг вспылил, швырнув мне в лицо это участливое внимание:

– Ничего не случилось! Чего ты тянешь, Тейлор?! Говори, что хотел – и разбежались!

Шокированный такой грубой, ничем, казалось бы, не спровоцированной вспышкой гнева, я даже не нашёлся, что ответить, больше изумлённо, чем оскорблённо наблюдая это тлеющее в глазах Расти бешенство. И бог ведает, чем бы этот разговор закончился, если бы не Венеция.

– Мальчишки-мальчишки, не ссорьтесь, – она выскочила из ванной, весёлая и лёгкая, бесстрашно чмокнула грозного Расти в небритую щёку. – Кофе?

Он машинально кивнул, беззащитный перед этой искренней гостеприимной вежливостью. Наблюдая за Венецией, я молчал, не желая снова, неизвестно чем раздражив Расти, нарваться на крик. Боялся, что, войдя в раж, он ляпнет что-нибудь грубое, а я точно не смолчу. И тогда тайфун этого скандала уже никаким кофе не остановишь. Он тоже благоразумно молчал, опасаясь, возможно, того же самого. Как некий посол мира, Венеция радостно и быстро моталась между нами. И казалось, что все вещи в комнате тоже шевелятся, двигаются, будто тянутся за ней. Ещё одно таинственное женское свойство, которое я никак не мог понять – умение создавать вот такое правдоподобное ощущение самопроизвольного хаоса.

– Джей, – в шутку упрекая в чём-то или просто дразня, она всегда звала меня «Джей», зная, что так меня называет Вегас, и что это мне не очень-то нравится, – ты хоть кровать застели, неудобно же...

Она любила играть эту роль: радушная хозяйка, стесняющаяся перед гостями любой небрежности быта.

– И он ещё в армию собрался! Да ты там всех сержантов осчастливишь просто.

Женщины... Как умело они «подают к столу» сюрпризы. Особенно чужие.

Расти обалдело глянул на меня. Моментально вернув и приумножив своё прекрасное расположение духа, я улыбнулся, развлекаясь его ошарашенным видом.

– Правда, что ли?

Мне показалось на секунду, что если отвечу «да», то он, как вчера Венеция, завизжит и кинется мне на шею.

– А я когда-нибудь тебе врал? – радостный, я не мог отказать себе в удовольствии немного поиздеваться над ним.

– Да постоянно! – настроение у него заметно улучшилось.

– А сегодня? – шуточно подыграл я, скрепляя начало этих переговоров о прекращении огня.

Венеция вручила нам по чашке и села на подлокотник, завалившись на меня боком. Почему-то при Расти она всегда демонстрировала эту свою принадлежность мне. Но я и не пытался разбираться в причинах столь странной особенности их взаимоотношений. И на то были свои основания. Я знал Расти, и уже одного этого было достаточно, чтобы доверять им обоим. И даже если отвлечься от того, что оба они были слишком горды, чтобы бессмысленно унижать меня и самих себя ненужной ложью, то кроме этого я никак не мог отделаться от подсознательного, затаившегося где-то очень глубоко ощущения, что мои с Венецией отношения – всё ещё некий контракт. Бессрочный и неопределённый из-за моей же глупости, нежелания бестактно интересоваться деловыми подробностями. А потому, что бы там ни кололо временами мою ревность, как бы ни стремилась иногда Венеция зацепить моё чувство собственника, всё это было если не тщетно, то уж явно ненадолго. Я просто не считал себя вправе настолько бесцеремонно претендовать на её привязанность. Быть может, не признаваясь в этом себе самому, боялся рискнуть однажды и из-за одного такого порывистого мгновения жажды откровений перечеркнуть всё то, что так ценил в наших с ней отношениях. В любом случае, даже если и было что-то между ними, то это было не серьёзно и давно...

– Так что у тебя случилось? – я осторожно приобнял Венецию, стараясь ненароком не принять кофейный душ.

– Да сестра с утра выпендрилась. Просила, чтоб я её ухажёра тоже в страховку вписал. Дура! – Расти словно толкнули, и он неуправляемо отпустил своё накопившееся с вечера раздражение. – Вот каким, спрашивается, он боком к нашей семье?! – он тут же чуть не подавился кофе. – Нет, каким боком я, конечно, знаю. Передним. Но просить вписывать его куда-то – это же полный беспредел! Короче, ругались с ней часа три. Сошлись на том, что она, наконец-то нашла своё счастье – уже шестое на моей памяти, – а я теперь ей жизнь ломаю своими принципами. Снова и опять, понимаете ли... Мать тоже с вечера всё рыдала. Не хочет, чтобы я в армию шёл. Точно твои слова повторила про пули, – он вздохнул. – В общем, все нервы вымотали, до которых копы не дотянулись. Так что, если у тебя где завалялась лишняя коробочка ненужных, не очень потрёпанных нервов – подари.

Он и правда выглядел замученным, особенно сейчас, когда выскользнул из тисков самообладания, готовности обороняться ещё и от моих уговоров. Я бы хотел его подбодрить, но просто не знал чем, а потому только сочувственно молчал, заражённый его семейными проблемами. Впрочем, похоже, что ему просто надо было выговориться, стряхнуть с себя эту свою бессонную, скандальную ночь.

– Как-то невесело, когда тебя так неприкрыто все хоронят, – он болтал в чашке кофейную тьму, сосредоточенно рассматривал там что-то. – А ты чего вдруг надумал?

– Ну, таких психов как ты в армию без сопровождения не берут, – я попытался как мог разрядить обстановку. – Да и с Вегасом вчера поцапался. Слиняю лучше от греха подальше.

Расти покивал, но вряд ли услышал хоть половину из сказанного, рассеянно думая о чём-то своём.

– Ну двинули тогда. А то сержант ещё передумает с нами в благотворительность играть. Или в полиции что новое откопают.

Тут я не мог с ним не согласиться. Раз уж выбрал себе путь, то не было никакого смысла стоять на месте, любоваться этим выбором и рассчитывать, что удача не отчаётся ждать до бесконечности долго моей решительности сделать шаг.

Венеция, подобрав под себя ноги, тихо и незаметно притаилась в кресле, так же, как Расти, рассматривала отражение в чашке. Скванная и грустная, будто кем-то незаслуженно обиженная, она, казалось, споткнулась обо что-то, какой-то неразрешимый, непосильный для одного лишь человека вопрос, ставший вдруг препятствием, преодолеть которое она не знала как. И теперь, будто устав, сидела возле этой стены, собиралась с мыслями и силами, чтобы отважиться и суметь пойти дальше. Но занятый своими спешными сборами, весь в собственных размышлениях, я совершенно забыл про неё, не обратил внимания на эту тихость, так ей не свойственную. Только когда я уже совсем собрался и потянулся за Расти к выходу, она вскочила, всё так же молча, будто боясь спугнуть что-то словами, серьёзно и как-то тревожно взяла меня за руку, прошла до двери. Я машинально шагнул за порог, но она удержала мою руку, не давая выйти. Будто с трудом проснувшись и наконец-то соизволив заметить всю эту необычность, я удивлённо посмотрел на неё. И что-то в её лице сказало больше, чем любые слова...

– Подожди, я сейчас, – кивнул я Расти, и он деликатно отошёл.

Ещё не понимая, что происходит, но чувствуя, что это что-то важное, а не просто каприз или властность, я подошёл к Венеции. Как по какому-то сигналу её глаза стали наполняться слезами. В немом молчании они срывались с ресниц, и сложно было бы чем-то напугать меня больше, чем этим бесшумным, ужасающим своей неудержимостью проявлением горя. Я прижал её к груди. Обнимая как ребёнка, успокаивал, не зная, какие слова можно придумать, чтобы утешить, излечить здесь и сейчас эту болезненную тоску её души. Напрягая скулы, я сдерживал что-то щемящее, остро воткнувшееся в сердце...

Неужели мы значили друг для друга больше, чем предполагали? Когда наше «деловое соглашение» перестало быть соглашением и стало чем-то иным? И почему только сейчас, когда уже безнадежно поздно, это стало вдруг заметно? Или это всего лишь нежелание, боязнь отказаться от ставшей привычной, удобной жизни?

Я спрашивал сам себя, страхась произнести все эти вопросы вслух, чтобы этой случайной небрежностью поиска ответов не ранил Венецию, которая, наверное, и сама не совсем понимала, отчего плачет, и что старается выразить этими слезами её сердце. Я осторожно и ласково гладил её лицо, смотрел на капли, которые всё катились и катились по щекам.

– Скажи, что это шутка. Ну пожалуйста, – с мелко дрожащими, непослушными губами она всё ещё хваталась за выдуманную надежду.

– Тюрьма или армия, – так же тихо сказал я. – Выбирай.

Она всхлинула, как-то отчаянно глядя на меня, не в силах решить, пугаясь этой мнимой ответственности за приговор моей жизни. Я поцеловал её в солёные, припухшие от слёз губы. Закрыв лицо руками, обессилив сдерживаться, она зарыдала почти в голос. Я просто не знал, что ещё могу сделать. Всё, чем я пытался утешить, все эти нежности, объятия и поцелуи, казалось, всё только портили. Ничто так не сбивает с толку, как эти загадочные, непостижимые и необъяснимые механизмы воздействия на женскую душу. То, что помогает и спасает в одном случае, в другом – таком же! – почему-то уже не работает.

И я просто тихо ушёл, оставив Венецию плакать, трусливо и цинично надеясь, что без зрителя одинокие слёзы быстрее излечатся, если не сердцем, то хоть разумом. Закрывая дверь, я слышал её судорожные, беспомощные всхлипы и чувствовал себя бездушным чудовищем. Но что ещё я мог сделать?

Расти участливо вздохнул:

– Проблемы?

– Ничего... Она поймёт, – я и сам в это не совсем верил, но выхода всё равно не было.

Я выбрал свой путь. Теперь надо было заняться бюрократией. А Венеция... Ей нужно было время, чтобы разобраться, понять и принять моё решение. Или не понять и не принять. Её выбор ждал своего часа уже независимо от меня.

Возможно, вечером я вернусь в пустую квартиру... И возможно, так будет даже проще для нас обоих.

В любом случае я больше не позволю ей плакать.

XI

Мутное солнце висело над самой землёй, краешком цепляясь за горизонт, корёжилось в забрызганном водяной крошкой стекле. Уже часа полтора мы тряслись в автобусе, огромном и душном, волочившем наши бесповоротно проданные государству тела к месту учёбы на бравых молодцев, «гордость нации», фотографиями которых так щедро пестрят рекламные армейские листовки.

Расти то ли спал, то ли притворился, а я уныло рассматривал дождливую, робко поросшую кустиками даль и вспоминал суматоху прошедших дней. Изнывая от жалости к самому себе, угнетая самообладание, думал про Венецию, про тёмную, будто осиротевшую, а когда-то такую весело-шумную квартиру, в которую ни она, ни я, быть может, уже никогда не вернёмся.

Так и не разобравшись в самом себе, в каком-то новом, незнакомом ощущении, я будто бросил его в спешке, сбежал, так и не доделав что-то важное. И теперь маялся от этого чувства чего-то так и не понятого, оттого, что упустил, вероятно, единственный шанс узнать ответы.

Может, и нужно было задать Венеции те вопросы? Не бояться за неё, за себя и просто рискнуть?

Но время, так необходимое для этих поисков, уже тогда было украдено армией – на томительное ожидание в аэропорту, скуку гостиницы, в которой мы дурели от безделья и тоски, потому что неясно по какой причине группа, в которой мы должны были находиться, уже давно улетела, и нашу отправку перенесли на другой день. Трёхчасовой перелёт, пугающий дрожью турбулентности и первобытным страхом падения. А до этого – беготня, тесты, медосмотры, документы, опять тесты и беготня...

Вспомнил, как, вырвавшись из этого бумажного круговорота, успел перевезти вещи Венеции к ней домой. Она уже не плакала. Тихо и сосредоточенно, будто разгадывая в уме какую-то сложную задачу, собралась, безропотно отправилась к матери, которую любила – и это было очевидно и даже слишком заметно, – но словно бы не совсем уважала. Гордилась, но в то же время будто немного и стыдилась, что, наверное, почти неизбежно у любого ребёнка по отношению к родителям. Вообще, к этой странной особе – матери Венеции – мне было сложно относиться иначе, как с несколько ироничным снисхождением. Я, безусловно, восхищался её даром, так щедро отмерянным природой. Но восторженность этой женщины производила впечатление чего-то патологического и неизлечимого, неизменно вызывавшего беззлобную и трудно скрываемую улыбку, как при разговоре с чужим радостным ребёнком. Словно утонувшая в собственном вдохновении, она была действительно талантливой художницей, натурой, безмерно и хаотично увлекающейся, но как будто разбросанной по воображению. И именно эта разбросанность, растрёпанность мыслей и порывов, неумение приручить своё же воодушевление и создавало то впечатление относительного безумия – того самого, которое некоторые считают чуть ли не гениальностью, и постичь которое обычным смертным попросту не дано.

До того я был в их доме всего раз – прожил там почти неделю сразу после «выписки» из приюта, – и он сразу же поразил меня своей преувеличенной, выставленной напоказ, а потому неинтересной и даже как будто неприятной свободой. Вольность нравов, очень уж близко соседствовавшая с распущенностью, вынести которую больше недели я просто не смог. Тут никому, казалось, не было дела до кого-то другого. И единственное, что запрещалось однозначно и строго – это входить в огромную комнату, служившую художественной мастерской. Захламленная атрибутами творчества, наполненная холстами и эскизами, удушающая запахом растворителей и красок, она была святилищем этого дома, трепетно оберегаемым от осквернения. Лишь сама хозяйка, как избранная служительница некоего таинственного культа, могла входить туда в любое время дня и ночи, не выходя иногда по несколько дней, терзаемая при-

ступами вдохновения или театрально нервничая от неудач. Временами там, словно неизвестно откуда взявшиеся, бродили томные натурщики; замотанные в какие-то простыни, лениво пили кофе на кухне, как пришельцы из другого, фантазийного, эфемерного измерения. Но это было редкостью. В этом мире едва ли не единственным объектом творчества и поклонения являлась Венеция. Если есть святилище, должно быть и божество. И именно Венеция и была красивым идолом этого дома. Портреты, фотографии, пейзажи... Все стены были увешаны броскими или туманными, тёмными и смутными, абстрактно-непонятными или ярко-запоминающимися символами этого поклонения. Венеция-дочь и Венеция-город – они будто слились в душе этой загадочной женщины в один безупречный образ, и обожались до восторженной дрожи, почти до сумасшествия, до фанатизма. Два совершенства, абсолютные и вряд ли достижимые в банальной реальности.

...Когда-то она встретила в том красивом, овеянном романтикой городе свою первую и, возможно, единственную настоящую любовь, бурную и ошеломляющую, испытать которую дано не каждому и не каждой. Невероятное по силе чувство, захлестнувшее её тогда, подарившее дочь и давшее эти лёгкие крылья упоения счастьем, которые до сих пор будто удерживали её душу где-то под облаками. Венеция никогда не знала своего отца, и сама считала, что, скорее всего, то была лишь случайная, ниспосланная провидением связь, рождённая сказочностью почти легендарного города, не принадлежащего ни суше, ни морю. Но вдохновенное сердце, раз ухнув в эту обворожительную бездну, больше не пожелало расстаться со счастливым любовным помешательством. И трогательное поклонение ему находило выход в прекрасных, нежных, таящих что-то хрупкое и сентиментальное полотнах. Таких, что иногда хотелось сорваться с места, бросить всё и бежать в тот дивный город, на секунду прикоснуться к мечте, причаститься каких-то чувственных таинств... Но, будто переполняя полотно этим невыносимым стремлением в яркий миг своей юности, она тем не менее ни разу не попыталась вернуться туда на самом деле, а не только в воспоминаниях и фантазиях, показать хотя бы дочери город, в котором та была рождена и в честь которого названа. Словно зная, насколько хрупка и нежна эта мечта, чувствуя, что душная гниль каналов и крысы, которых наверняка полно в том городе, навсегда и безвозвратно разобьют этот сверкающий хрустальный замок. А потому так и хранила его в сердце, вдали от опасной реальности, приукрашая сверх всякой меры собственным иступлённым воображением.

Мне очень понравилась одна из таких вот пронзительных, наполненных светлой печалью картин. Яркая рябь воды лунной ночью, тёмная арка сгорбленного моста, будто в отчаянии цепляющегося за стерегущие покой канала набережные. Горделивые стены плотно стоящих, равнодушно взирающих окнами домов. И стройная фигура гондольера, устало и задумчиво опирающегося на весло – абсолютное человеческое одиночество, таинственно освещаемое безразличной луной из дымных, предгрозовых лохмотьев. Грустная картинка, словно подсмотренная через заплаканную память...

...Такая же неяркая, рябящая сквозь капли дождя, как и этот пейзаж за окном автобуса.

Я вдруг вспомнил, как стоял перед той акварелью, впитывая неясное чувство какого-то тревожного умиления, мягко задевшего что-то звенящее и ещё очень невнятное в душе. Будто сердцу хотелось верить, что этот неизвестный человек ждёт там именно меня, и что простоит он там пусть и целую вечность, но всё-таки дождётся...

Неслышно подошла Венеция.

– Нравится? – тихо и осторожно, как перед огоньком свечи, спросила она.

Я молча кивнул, сам не зная, чем же именно привлекла меня эта картина, совсем неяркая и даже теряющаяся своей невзрачностью на фоне остальных.

– А ты был в Венеции?

Я закашлялся, даваясь двусмысленностью этого вопроса. Венеция, невинно удивляясь, посмотрела на меня и, вдруг осознав всю непреднамеренную пошлость своего вопроса, радостно расхохоталась, окончательно распулав печальную торжественность ощущений.

– Ах ты ж турист!

В шутовском негодовании она шумно гонялась за мной по всему дому, будто это я придумал тот вопрос и подкараулил её с ним, чтобы высмеять.

Ох, и гвалт мы тогда устроили!

«Повезло мне, я был в Венеции», – непроизвольно улыбнувшись, спохватился я, снова радуясь той сценке.

Но воспоминание тут же выцвело, померкло, словно чем-то или кем-то мне отныне было запрещено веселиться, улыбаться, вообще быть каким-никаким оптимистом. Посадив на цепь присяги, меня будто лишили права на простые человеческие эмоции, заведомо превращая в послушное живое оружие, не способное и не должное иметь собственное, не регламентируемое уставом настроение. Смеяться и плакать по приказу, думать и действовать по приказу, жить и умирать по приказу. Это всё, что оставила мне присяга... Вспомнил, как стоял, приложив руку к сердцу, отсчитывавшем последние минуты моей гражданской, вольной жизни, механически повторял слова, торжественно и веско падавшие в мой разум. Помпезный, не лишённый некоторого величия ритуал должен был вселить в наши души патриотическую верность, нестигаемую, не сомневающуюся волю к победе. А вместо этого рождавший лишь чувство оглушительной, безнадёжной, просто вселенской тоски, подобную которой я не испытывал никогда до этого.

Но может быть, это только у меня так? Ведь пришёл я туда всё же не по своей воле и, повторяя все эти клятвы, думал лишь о том, что оставил за спиной, чем не успел не только насладиться, но даже понять. То чувство, что мимолётно лишь мелькнуло перед сердцем, когда я оставил Венецию в слезах, рискнул уйти, даже не простившись. Считаю, что так проще, трусливо оберегал себя от возможных упреков и новых слёз. Я попросту сбежал, а после уговорил себя словами «она поймёт».

...Вечером того дня я открыл дверь в тихую, тёмную, будто мёртвую квартиру. Сердце ёкнуло от этой темноты. Я думал, что так будет проще... Ничего не проще. Я всё-таки очень надеялся, что Венеция не уйдёт, что я смогу – пусть на прощание, – но всё же обнять её ещё хотя бы раз.

«Скажи, что это шутка. Ну пожалуйста», – какой-то назойливый призрак с безжалостной услужливостью шептал эти дрожащие мольбой слова в моём сознании. Неужели именно они и останутся в памяти последними, рушащими всё словами наших отношений? Формальное объявление того, что теперь мы стали чужими, и отныне неважно чего хочет сердце...

Как часто мы идём с кем-то рука об руку, не замечая пропасти разрыва, которая уже через шаг вдруг оказывается под ногами, навсегда раздирает что-то важное и нужное, вырывает из нашей жизни того, кто ещё миг назад, казалось, навсегда будет с нами. Роковое несчастье или циничная измена, слова, сказанные в горячности ссоры или малодушное молчание спасаемого спокойствия... Никогда и никому не дано узнать, что же именно поставит точку, внезапно и окончательно разлучит людей, когда-то так крепко державшихся за руки. Мы сами бросаем тех, кто нам дорог в эту бездонную пропасть гнева, лжи или равнодушия. И спохватываемся только тогда, когда уже поздно что-либо менять.

Что ж... Венеция сделала свой выбор. Это её решение, и я буду его уважать, неважно насколько трудно мне дастся это уважение.

В темноте, не желая губить светом свою томную, тоскливую меланхолию, я прошёл в комнату. Уже не ожидая никого увидеть, нервно дёрнулся, пришибленный воображением – лёгкое, едва заметное движение в стороне чуть не разорвало мне сердце. Отбиваясь от своей

буйно-пугливой фантазии, я мгновенно включил свет – это последнее надёжное оружие против вымышленных монстров детских ужасов.

Опухшая от долгих слёз, заспанная Венеция, как ребёнок, тёрла глаза.

– Я ждала и уснула... – она будто извинялась за что-то.

Какая-то неменяемая нежность моментально затопила меня изнутри. Я обнял её, успокаивая в себе какую-то новую, болезненную чуткость сердца, которую никак не мог унять. Венеция прижималась ко мне, пряча лицо в ладонях, стыдилась того, что почему-то считалось некрасивым в её мире – заплаканных глаз, дрожащих грустью уголков губ... Она не верила и не хотела понять, что эта искренность чувств, пусть даже и преувеличенных неожиданностью и неизбежностью расставания, мне дороже и важнее причёсанной, тщательно выверенной, расчётливой обворожительности. Я редко видел её слёзы. Злые и капризные, сентиментальные или притворные они никогда не были столь откровенны. Никогда раньше Венеция не приоткрывала своё сердце передо мной настолько доверчиво. И теперь я очень хотел заглянуть ей в глаза, убедиться, что не сам для себя выдумал это якобы связующее нас чувство, надеялся, что смогу прочесть в её лице хоть какие-то ответы на мучившие меня вопросы. Но она застенчиво попросила выключить свет, и я подчинился, теряя последний шанс узнать секреты её души.

В темноте я целовал её лицо, плечи. Она жарко дышала, обхватив меня руками, будто страхась отпустить, будто уходило я должен был именно в эту секунду, бросать её прямо сейчас и навсегда. Молча я взял её на руки, отнёс на кровать. Целуя, нежно и медленно раздевал. А она тихо лежала, будто стесняясь меня... Словно в первый раз...

Но в каком-то смысле эта ночь и была первой. Для нас обоих.

...Что-то робко стучалось в моё сердце, а я боялся впустить это незнакомое, таинственное, губительное чувство. Боялся изменить что-то в себе настолько, что придётся отказаться от привычного спокойного равновесия, швырнуть в эту бездну всего себя. Тогда я ещё не догадывался, что как только рассмотрел тот неясный призрак на пороге своей души, едва заметил его зыбкую тень, как в ту же минуту я и лишился этого самого спокойствия, за которое привык прятаться от жизни. Это страшное слово «любовь» махнуло где-то над сердцем, обвило его бархатными крыльями и стиснуло так больно, что захотелось оттолкнуть Венецию и бежать, спасаясь от слабости и уязвимости, которые оно всюду водило за собой. Но это длилось лишь мгновенье. И я прижал Венецию к груди, давая время чему-то новому в моей душе узнать её, запомнить и, может быть, полюбить. Теряя власть над самим собой, чувствовал жаркую влажность её кожи и трепет пульса под ключицей – тонкую ниточку жизни, ведущую прямо к сердцу. Хотелось сказать ей что-то важное, и я сам верил, что знаю это что-то и смогу выразить словами. Я даже набрал воздух, чтобы сказать. Но не сказал, а лишь вздохнул. Смутная, оберегающая руины эгоистичного спокойствия мысль, что то, что я скажу сейчас – что угодно, что продиктовано будет запутавшимся сердцем, – облачённое в слова, в звук моего голоса, всё это торжественное, незнакомое и удивительное ощущение вдруг станет вздорным, смешно-наивным и, пожалуй, даже пошлым. Моё глупое сердце не умело говорить. А моя совесть не желала быть связанной этими словами, обременяться необдуманными обещаниями, которые неизменно кроются в тишине таких моментов.

Я снова вздохнул, уже чтобы просто выдохнуть из груди это желание говорить, выдавать ещё совершенно невнятное, слишком поспешное намерение подарить Венеции свою драгоценную свободу, и без того уже проданную армии. Невозможность отдать ей то единственное, что ещё оставалось моим, задавила во мне любые слова. Очень уж быстро я начал терять себя, раздавать по частям. И теперь вцепился с дрожащим иступлением скряги в собственное сердце, его свободу и покой.

...Завернувшись в мою рубашку, Венеция нежно посапывала во сне. А я стоял у окна, смотрел на светлеющее небо и думал о том, что испытал этой бессонной ночью. Вероятно, самой странной за всю мою жизнь. Что-то, что я так и не отважился назвать любовью, закружило и запутало мою душу, наполнив какими-то острыми, ярко вспыхивающими, но тут же гаснущими ощущениями. Я прислушивался к встревоженной глубине своего сердца. Я не узнавал и не мог узнать это чувство, мне просто не с чем было сравнивать. Но я точно знал одно – ничего подобного ещё не испытывал. Никогда и ни к кому. И впервые я не мог объяснить самому себе то, что творилось в моей душе. Легко угадав озноб страха, терзания трусости, печаль разлуки, привязанность и нежность, я всё никак не мог найти подходящее название для чего-то ещё... Чего-то достаточно сильного, чтобы увязнуть в моём сознании, беспокойно застрять в сердце. Любовь ли это? Я не знал ответа. И кажется, даже не хотел знать, одинаково боясь любого из возможных вариантов, которые мог придумать.

...Эта ночь закончилась, унося с собой ответы. Оставив мне лишь загадки. Солнце деликатно выглянуло из-за крыш, ещё тусклое и неяркое после сна. За всю ночь, с того самого момента как переступил порог, я так и не произнёс ни слова, так и не понял, тень чего поселилась в моём сердце, так и не спросил Венецию о том же. И сейчас, с первым лучом нового дня, как будто стало слишком поздно, просто не нужно во всём этом разбираться, выяснять что-то, что навсегда осталось в темноте ночи.

«Выберусь из армии и женюсь на Венеции, – как-то отчаянно и внезапно решил я, словно приговаривая себя к чему-то. – Если дождётся...»

Опять это «если»! Я готов был головой биться об это «если»! *Как* простое, нелепое слово – обычный набор букв – способно отравить радость момента, удавить настроение, угробить иногда целую жизнь?! *Кто* дал словам эту невероятную власть над людскими душами, эмоциями?... От одного незатейливого слова тихое вдохновение распугала тревожная суматошность мыслей и проблем. Кто-то там наверху, кто так милосердно подарил мне эту ночь, теперь бросал меня в топку реальности одним простым «если»...

Вот уж истинно «вначале было слово»...

Что же в конце будет? Тишина?

Но тишина отныне и на долгое время мне явно не грозила.

Лишь только успели приехать, как тут же ворвались сержанты. С криком и воплями, оглушая всей этой неведомо кому нужной психологической атакой, выгнали под мерзкий холодный дождик.

«Ну, началось», – успел подумать я, и это стало едва ли не последней осознанной мыслью на сегодня.

Побросав вещи – все и сразу, там же где вывалились из автобуса, – мы побежали сбиваться в какой-то неуклюжий табун, призванный символизировать наше первое построение. Плохо соображающим от гвалта стадом, толкающимся и мёрзнувшим, напоминающим что угодно, только не строй, нас погнали слушать бравое приветствие полковника. Надо ли говорить, насколько сильно я его сразу возненавидел? Не очень кратко, но по существу этот официально-восторженный офицер мучил наши уши. Вдалбливал в нас необходимость обзавестись собственными доблестью и честью, которые мы обязаны были взрастить и хранить в своих сердцах, дабы не посрамить и не опозорить, любить и защищать, не бояться и не сдаваться и всё такое прочее. А я уже мечтал поменять любую доблесть на возможность уткнуться лицом в подушку и хоть во сне, хоть на несколько часов, но забыть весь этот шумный патриотический бардак.

Но оказалось, что на данном этапе нам запрещено иметь не только личные вещи, но и личные мечты. Потому жизнь не спешила радовать услужливостью. Промёрзнув до дрожи диафрагмы, мы потянулись на склад. По одному, строго по списку получали одеяла, подушки,

простыни, чтобы снова мёрзнуть и ждать, ждать и мёрзнуть. Обнимаясь с этими казёнными намёками на сон, мы сидели под навесом, ожидая пока закончится длиннющий, казалось и вовсе неистощимый список имён. И хотя каждый из нас вполне мог самостоятельно добрести до казармы, но свершение сие нам было недоступно. Мы просто не имели на это права. Отныне нам разрешалось передвигаться лишь табунами, толпой и по команде сержантов, строем, шагом или бегом, даже ползком – выбор был довольно обширен, но «одиночного плавания» в нём не было. Похоже, наказывалась уже одна мысль об одиночестве, независимости, самостоятельности. Всё личное, будь то желания, выбор, даже просто пространство тщательно и планомерно убивалось, превращая всех нас в один искусственно сплочённый, спрессованный системой, озверевший от этой необходимости коллективный механизм. Моё отточенное до мастерства умение быть в стороне, помогавшее до сих пор выживать где угодно, здесь впервые стало бесполезным. А это был единственный известный мне способ комфортного существования в любом коллективе. Отныне никаких «я» – только «мы», «команда». И мне с первых же часов стало душно в этой толпе незнакомых, нервных и перепуганных людей. Отчаяние и безысходность сомкнули свои цепкие пальцы на моём горле.

«Я полез в эту петлю на целых четыре года... Мой бог, забери меня отсюда!»

Продрожав на противном, сыплющем холодными брызгами ветру до трёх ночи мы всё-таки добрались до своей казармы. Думаю, я уснул ещё раньше, чем коснулся подушки, просто упал в какую-то чёрную яму. Но кажется, едва закрыл глаза, как чей-то вдохновенный крик тут же выдернул меня из этой ямы сна, сорвал с койки, поставив на ноги ещё прежде, чем я успел проснуться.

– По-о-одъём!!! – бешено горланил сержант.

А я, паникуя от этого вопля, безуспешно пытался растолкать свой разум, нежелающий и неспособный понять, чего же от него хотят в такую рань. Полтора часа на сон было невероятно, безбожно мало.

«Выспаться удастся не скоро», – безнадежно, как под дулом пистолета, пророчески подумал я.

Десять минут на туалет и бритвё плюс суматошное и одновременное столпотворение пятидесяти не выспавшихся, рехнувшихся от такого подъёма человек – это, надо сказать, весьма странное, но любопытное зрелище, уступающее, пожалуй, лишь какой-нибудь эпичной эвакуационной давке из фильмов про неотвратимый и ужасный конец света. Всё ещё пугаясь непривычности собственного бритого наголо отражения – моё счастье, что родился не лопухим, на некоторых без слёз трудно было смотреть, – впопыхах обскоблив бритвой лицо, толкаясь и толкаемый, я выскочил на утреннее построение. Здесь всё было уже намного «веселее» – переминаясь нельзя, водить глазами нельзя... Проще говоря, ничего нельзя, кроме как глохнуть от вопящих в ухо сержантов, стоя смиренно, как бестолковые болванчики. Из нашего безмозглого стада спешно и нервно пытались сделать нечто, что строем назвать будет уже не стыдно.

Добро пожаловать на «адову неделю» – первые дни всем и всегда запоминаются как худшие в жизни. Хотя потом, оглядываясь в прошлое, я понимал, что впечатление это крайне преувеличено, во многом благодаря той оглушительной, бешеной резкости, с которой армия привыкла менять и меняет повседневность каждого попавшегося ей новобранца. Бросает в новый мир сразу, будто в ледяную воду, а уж вынырнуть и отдышаться – это твоя задача.

XII

Боль становилась слишком заметной, и я даже силой воли уже не мог заставить себя не хромать. Пару дней назад я весьма неудачно навернулся на полосе препятствий и ушиб колено. Поначалу казалось, что не очень-то и сильно. Может, всё бы прошло само собой, если бы не эти восемь километров с полной выкладкой. Они определённо меня доконают.

Вся неделя началась неприкрыто траурно. С понедельника вдруг резко похолодало, и даже срывался утром мелкий снежок, что нас в наших шортиках и футболках просто несказанно впечатлило. Сержанты пожелали на свежем воздухе воспитать в нас стойкость духа заодно уж с морозоустойчивостью – действительно, зачем же случай упускать? – а потому зарядка так и прошла под нежным ледяным пухом с аккомпанементом дробно стучащих зубов. Со вторника полказармы чихало и кашляло, так что спать стало решительно невозможно. Какой-то чумной барак получился.

Расти тоже зацепило, и это было вдвойне удивительно, потому что мой тщедушный организм неожиданно бодро выдержал эту закалку. Угрюмо хрипя связками, простуженный Расти ныл и раздражался, изъеденный комплексами, обижался на меня, словно это я гнусно подговорил болезнь перепутать его со мной, и в моих силах было это исправить. К пятнице мы уже дважды успели поругаться почти до драки, и какие-то «доброжелатели» не замедлили наябедничать сержантам. В нашей роте только мы двое были судимы и реабилитированы с условием службы в армии, и, разумеется, внимание к нашим бандитским особам было повышенное. Уж не знаю, чего хотели добиться «братья по оружию», но разъярили они сержантов так, что на неделю наша казарма схлопотала ночные дежурства 50 на 50. Сложно сказать, что не нравилось нашим сержантам больше – доносительство или нескончаемые, никак не затихающие склоки и разборки внутри нашего «сплочённого» взвода, но теперь «хорошо» стало всем. Вместо нескольких человек по ночам отныне не спало полказармы, сменялось через час второй половиной, чтобы, не успев пригреться на подушке, снова вставать на дежурство. И так каждый час, до самого утра. На долгих семь ночей. Помириться всем со всеми это явно не помогало, но зато сейчас я и Расти были и вовсе на особом пристально-подозрительном счету у Фар-Горов.

Фар-Горами мы за глаза называли наших мучителей-сержантов – Фарнелли и Горски. Одинакового роста и телосложения, оба смуглые брюнеты, они были абсолютно неразличимы со спины или издали. А потому, чтобы долго не ломать голову, идентифицируя того, кто объявился на горизонте, обоих и прозвали Фар-Гор. Вспыльчивые и крикливые, не стесняющиеся в выражениях и оценках наших умственных способностей, они с первых же дней зарядились ронять нас в отжимания, словно на спор – кто больше? За любую мелочь, замечаемую с придирчивой и поразительной внимательностью, мы падали носом в асфальт и, отжимаясь, выслушивали все те изощрённые подробности «лестного» мнения о себе, о которых в приличном обществе всё же принято умалчивать. Страшнее сержанты достались только второй роте. Те бедолаги и вовсе с самого начала тренинга валялись в пыли и поту, так что уже сомнения возникали, умеют ли они ходить как все – прямо и на ногах. Казалось, что поза измученной ящерицы становилась для них вполне естественной и даже эволюционно оправданной.

...В колене всё чаще стреляло мелкими болевыми разрядами, и я ни о чём больше не мог думать. Догадываясь, что, вероятно, калечу сам себя, что рискую надолго и всерьёз выбыть из строя, я всё же из какого-то дурного тщеславия не хотел сойти с дистанции. Бег и подобные марш-броски были единственным здесь, в чём я как-то преуспевал. Силовые и интенсивные нагрузки я переносил с большим трудом, и лишь выносливость была моим козырем. В пятёрке лидеров нашей роты в беге, пару раз даже удостоившийся похвалы Фар-Горов я теперь не желал отказываться от этих трюфеев из-за какого-то глупого колена. Но боль – не та штука, что станет

слушаться волевых приказов, и колено болело всё сильнее. Из-за этой боли я сбил дыхание и последний километр шёл, как тяжелораненый в тылу врага – без надежды выйти к своим, даже без какого-либо сознательного расчёта на спасение, а просто потому, что одна только гордость волокла меня за шкуру, не давая лечь и умереть прямо здесь. Позорно, в числе последних и всегда отстающих, с трудом дотащившись до финиша, я тут же успел разозлить Фарнелли переступанием с ноги на ногу в строю. Весь взвод немедленно уложили отжиматься. Автоматически и привычно ненавидя сержантов, армию, весь мир и меня, мы толкали землю руками – к себе, от себя, к себе, от себя... Дивное занятие, всё чаще приходившее даже во снах.

Не знаю сам, на что я рассчитывал, скрывая свою травму, но от судьбы я всё же не ушёл. Поднимаясь, я, видимо, задел какой-то воспалённый нерв и заорал так, что напугал самого себя. Вообще, иногда я был неожиданно откровенен в эмоциях и сам до конца не понимал, от чего зависит эта яркость проявления чувств. Опухоль исключала симуляцию, и Фар-Горы отправили меня к врачу.

Минимум на три дня я был отстранён от нагрузок, и это было очень плохо. Всего пять дней такой лени, и я загремлю к новичкам, чтобы проходить этот кошмар с первого дня. После половины пройденного пути вдруг снова оказаться на старте, снова быть среди самых бесправных и унижаемых существ на этой базе? Нет уж, спасибо, видели таких бедняг – к нам спустили одного с травмой бедра, и, не продержавшись и месяца, он упрыгал из армии уже на костылях. Вторым примером была девушка – ей оставалось каких-то две недели до окончания обучения, но она сильно потянула связки и начала всё с нуля в «счастливой» второй роте. Не знаю, как она это перенесла, но я бы скорее удавился, чем проходить все круги ада тренинга снова.

Плохо было ещё и то, что не будь этого проклятого марша сегодня, возможно, мне и удалось бы потихоньку подлечить свою ногу. Завтра было воскресенье – «ленивый день», но в мои три дня не в строю он тоже входил, и это было обидно.

Так, ковыряясь в душевных страданиях и мечтах, начинавшихся с бессмысленного «если бы...», я валялся на койке, твёрдо решив вопреки велению природы пользоваться только одной ногой и в авральном порядке залечивать больное колено.

– Что, Белоснежка, перетрудилась?

Я проигнорировал эти надоевшие попытки затеять ссору. Самый мелкий из нас, задиристый и неуёмный в пошлых, злых шутках Квинси никогда не упускал момента нарваться на драку. Меня он невзлюбил оттого, что я один был ему достойным конкурентом в беге, и с самого начала мы вырывали друг у друга это сокровище первенства. Прозвище же Белоснежка досталось мне рикошетом от Расти, которого, как самого рослого в нашем взводе, сержант Горски тут же окрестил Гномом. Вот и пришлось мне мириться с кличкой, больше подходившей жеманной девице, нежели новобранцу грозной армии.

– Ты чего сегодня еле лапки подтягивала? Или любовалась красотами природы? – Квинси настойчиво раскачивал мою злость. – Ой, или тебя там в лесу изнасиловали? Понравилось? Завтра снова побежишь?

Он восторженно заржал от своего похабного подобия юмора. Кто-то, безуспешно старающийся заснуть, попытался его утихомирить.

– Заткнись, я с дамой разговариваю, а не с тобой, – огрызнулся Квинси.

Скорее устав от потуг его пошлого разума, чем разозлившись, я изловчился и, не вставая, резко выбросил здоровую ногу, толкнул его в живот. Он не успел отскочить и едва не упал на Расти. А падать, толкаться, цепляться, вообще делать что угодно неразрешённое уставом с Расти было чревато.

– Свали с моей территории! – мощно и основательно пнув Квинси, он мгновенно, хоть и на время, отбил у этого паршивого злобного выскочки желание соваться к нашим койкам.

Сразу же предьявив себя как сильного и лишь до определённой, очень тонкой грани уравновешенного противника, Расти даже контраст своего вида и прозвища сумел превратить

в преимущество. Бритым налысо он выглядел ещё более угрожающе и первые дни ходил мрачный, давя суровостью, притворным неумением улыбаться всех, кто привык начинать знакомства с драк и ссор. Это был его способ занять место в коллективе. Он сознательно выставлял свою хмурую силу напоказ, преувеличивал и умело бравировал ею, и вскоре даже самым тупым становилось понятно, что он не замедлит ею воспользоваться. И не замедлил, когда несколько наших агрессивных идиотов – и Квинси в том числе, – сбившись в нервировавшую всех группку, попытались потеснить Расти в его правах. Подсмотрев и скопировав мою модель поведения, они неосмотрительно ввязались в ссору, не уяснив того, что орать на Расти – это исключительно моя привилегия, по крохам выдаваемая мне все почти четыре года нашего знакомства. Вот и теперь Квинси сильно заблуждался, когда решил, что раз уж я и Расти вот уже два дня разговариваем сквозь зубы, то можно прийти ко мне и безопасно поупражняться в остроумии. Ошибка. Наши с Расти ссоры всегда были с пометкой «внутренние» и на внешний мир никак не влияли. Мы могли даже подраться, но стоило – пусть и через секунду после нашей обоюдно вырвавшейся ненависти друг к другу, – хоть кому-нибудь зацепить одного из нас, как мы оставляли выяснение своих отношений и всю пылкость помноженной на двоих ярости направляли на обидчика. Такая вот непостижимая для многих и очень ценная особенность нашей дружбы.

– Что доктор сказал? – сбросив раздражение на Квинси, Расти соизволил поинтересоваться моим самочувствием. Всё ещё сиплый и чихающий он только сейчас заметил, что мне тоже перепало заболеть, и, видно, переставал обижаться на собственные сопли.

– Не маршировать, не бегать, не прыгать. На три дня пока.

– Здрово, – тут же позавидовал Расти. – Отдохнёшь, расслабишься. Прямо курорт, а не армия.

Я вспыхнул от его глупой зависти и нежелания увидеть мою ситуацию в целом.

– Ну и что здорово-то?! Объясни, а то я не понимаю, что весёлого в том, чтобы драить туалеты, пока все будут на стрельбище?!

Расти, задетый моей неблагодарностью его неуклюжему сочувствию, недовольно засопел:

– Чего ты разбухтелся, Тейлор? Можно подумать, это я тебе ноги переломал. Топай с нами на стрельбище, кто мешает?

Рискуя опасно повысить шансы на рекорд по количеству ссор в одну неделю, я всё же не сдержался:

– Никто не мешает, как и тебе, когда ты меня чуть не загрыз из-за своих сопливых чиханий. И тоже не я тебя выгнал на зарядку с акцией «Поймай вирус»!

Расти уже готов был вызвериться на меня, когда из своего угла неосторожно подвыкнул Квинси:

– О, голубки ссорятся, – почему-то он решил, что если мы сами кричим, то ничего вокруг не слышим.

Расти, как-то обречённо вздохнув, поднялся.

– Беги, Квинси! – шутливо крикнул я, а Расти со спокойной мрачностью пошёл отвечать на это легкомысленное заявление. – Расти, только ноги ему не поломай, а то у второй роты не выиграем. И не по лицу, – успел насоветовать я, больше для веселья, чем считая, что Расти и впрямь не ограничится парой тычков, скромных, но достаточных, чтобы на пару дней вышибить из Квинси дурь.

То, что я не пошевелился воспитывать Квинси вместе с Расти, конечно, дополнит арсенал шуток в мой адрес. Но лучше я немного побуду объектом насмешек, чем рискну покалечиться ещё больше в бесполовой драке и приговорить себя к лишним полутора месяцам каторги тренинга.

Пять минут сопящей возни с пререканиями – и Расти причалил обратно. Похоже, обошлось без оплеух, что значило или то, что настроение Расти куда благодушной, чем казалось – что вряд ли, – или что у Квинси обнаружился зачаток разума.

– Эх, – Расти завалился обратно на койку, – а рядовая Адамс ничего так, – мечтательно и как-то совсем некстати пробубнил он.

– Кто? – иногда, щадя свой рассудок, я даже не пытался понять скачки его мыслей и тем для разговора.

– Адамс. Девушка, которую прислали с последних недель курса. Вроде милая барышня...

Расти в своём репертуаре – завидев неподалёку существо женского пола, тут же мобилизовал свой охотничий инстинкт и даже то, что на этот раз в каске и бронежилете это существо как женское опознавалось с большим трудом, храброго Расти не пугало. Когда у него вообще нашлось время засматриваться на кого-то в соседней роте, для меня осталось тайной. Но он уже успел раздобыть об этой Адамс кое-какую информацию, и спрашивать, как он умудрился это сделать, было бесполезно – сбор данных о чём угодно словно бы из ниоткуда, просто из воздуха, был его фирменной фишкой, секреты которой он хранил свято, как древний фамильный рецепт.

– Надо бы с ней познакомиться, а то я уже одичал.

– Расти, не вздумай.

Я всерьёз обеспокоился, зная, что он легко может сдать своим неуёмным гормонам в обмен на множество проблем. А учитывая, что не только попытки завязать какие-либо отношения во время учебного курса, но даже сами мысли о таких попытках строго и моментально пресекались, проблемы могли возникнуть совсем не праздничные.

– Под трибунал захотел? Держи свои фантазии подальше от второй роты вообще и от рядовой Адамс в частности.

Расти зевнул от моего отеческого напутствия:

– Ты как настоятель монастыря, Тейлор. Разбубнился: грех и всё такое... Уже и помечтать нельзя.

– Знаю я, куда эти твои мечты заводят, – проворчал я.

Расти хохотнул, видимо, что-то вспомнив. А я подумал о том, что, отправляясь сюда, готовился выть на любой фонарь от отсутствия девушек, оттого, что молодые, здоровые эмоции, чувства, вся жажда жизни будут заперты в казарме и опечатаны уставом. Насильно заткнуть все эти неуправляемые инстинкты куда-то очень далеко, казалось, будет невыносимо. Но сейчас я даже не мог припомнить, когда думал про Венецию в последний раз. Лишь иногда, по вечерам или в нудные ночные дежурства, сердце легко и сонно задевали какие-то воспоминания. Паника и отчаяние первых дней прошли неожиданно быстро. Водоворот агрессивных тренировок утащил сознание в новую реальность, бешеным темпом и алчной усталостью забывая любую грусть и желание плакаться на судьбу. Перепуганный организм, похоже, решил, что его планомерно и настойчиво убивают, а потому попросту не намерен был тратить силы ни на что, кроме элементарного физического выживания.

Раз в пару недель нам разрешалось позвонить кому-нибудь, добровольно отравить душу тоской разлуки с близкими. И услышав взволнованный, искусственно-радостный голос Венеции, её простенькую, милую болтовню, опьянённый этими весточками «с большой земли», я тогда таскался с угрюмой печалью в сердце. Как человек, которому вдруг приснится какая-нибудь страшная, мучительная трагедия, – приснится неприятно, слишком явно – и нарушит спокойствие сердца так, будто и правда что-то подобное произошло. Едва проснувшись, он тут же понимает, что всё это страшное было всего только сном. Но понимает лишь разумом. И чувство какой-то неопределённой, но очень болезненной потери всё же отдаётся в нём скорбью, как долго не затихающее эхо в горах. Волнует душу, ищущую и сомневающуюся, принимающую реальность сна на веру и страдающую от несуществующего несчастья, которое она

всё же пережила во сне... Но через день-два и эта грусть забывалась, излеченная волшебным лекарством яростных физических нагрузок. Вообще, уже через месяц хронической беготни в строю по 12—14 часов в день мне стало казаться, что и не было вовсе никакой Венеции, Вегаса, приютов и банды, что вся моя жизнь началась именно здесь, на этой базе, а всё, что было до этого, лишь привиделось изобретательному воображению. Настолько далёко осталась вся та прежняя жизнь...

И к моему безмерному удивлению здесь оказалось совсем не так мрачно, как представлялось моей качественно запуганной мнительности. Стоило только перестать задаваться вопросами «что?», «зачем?» и «кому это нужно?», анализировать целесообразность тех или иных приказов и команд, ужасаться унылой бессмысленности собственных действий, как мир вокруг стал прост и ясен. «Слово старшего по званию – закон» – одно незатейливое правило, оберегаемое уставом, как священная корова. Любое, даже невероятное количество слов и указаний в итоге сводилось к этому простейшему постулату, возведённому в ранг закона. И этому закону следовало подчиняться слепо и безоговорочно, если не возникнет вдруг мазохистского пожелания добавить в личную коллекцию неприятностей пару-тройку новых проблем. И как только я прописал это правило в душе, натравил его на умение приспособливаться, выживание закончилось, и началась жизнь. Больше не было бесконечных метаний, терзаний страхом и неуверенности, паникующей неготовности принимать решения. Отныне сержанты принимали их за меня, ставили задачу или цель перед носом, а мне оставалось лишь выполнять. И в отличие от Расти это подчинение своих стремлений в угоду чьим-то приказам далось мне довольно легко. Я никогда не хотел – да и не мог – быть лидером, вести за собой как полководец, брать ответственность пред богом и самим собой за чьи-то судьбы и жизни. И если бы не необходимость постоянно быть на людях, топтаться в толпе, то жизнь здесь стала бы для меня, быть может, почти комфортной. Но неожиданно именно эта невозможность забиться хоть на день в какой-нибудь угол, остановиться хоть на миг и осмыслить, разобраться в бардаке чувств и событий, накопившемся за всё это время, и стала тем камнем, о который я с завидной регулярностью спотыкался на этом пути.

В общем, удручало много чего. Почему, например, в столовой нужно ходить строевым шагом? Зачем сидеть в такой и никакой иной позе, даже если неудобно и болит спина? Да даже кружку следовало держать только так, как положено кем-то и когда-то! Но из множества нелепых глупостей, призванных закалять дисциплину, отучать от лишних вопросов, лишь условие постоянно быть на виду нервировало меня до остервенения. Никогда, никуда и никак я – да и кто угодно из нас – не мог пойти один. Везде и всюду, даже в туалет, за тобой вынужден был таскаться приставленный к тебе «хвост», «боевой товарищ». Он за тобой, а ты за ним, как привязанные друг к другу. И счастье, что моим напарником оказался Расти, да и то только потому, что любезная удача поместила моё имя в списке сразу следом за ним. Иначе, боюсь, я бы успел кого-нибудь убить ещё в первый месяц. И именно жажда одиночества тщательно отравляла мне жизнь и выматывала нервы, не в силах отучить от того, к чему я так привык и что не хотел отпускать добровольно. Всё время до армии я жил в какой-то мере сам по себе. Всегда – даже в шумном приюте – умудрялся быть одиночкой, с простой, но почти наркотической зависимостью нуждаясь иногда в замкнутости и нелюдимости. И теперь я никак не мог привыкнуть к этой особенности «курса молодого бойца». Ну да курорта с бассейном, коктейлями и массажем никто и не обещал.

ХІІІ

Фарнелли вкратце объяснял правила. Обычно мы с Квинси задавали темп всей группе и, щадя себя и остальных, всё же бежали не в полную силу. Но сегодня каждому придётся выложиться по полной. Три километра бегом и сразу следом полоса препятствий. Суммарное время нашего взвода сравнивалось с результатом наших соперников. Нехитрые, в сущности, соревнования. Но похоже, для наших сержантов победить в них было очень важно. Не знаю, на чём была основана их тихая конкуренция с сержантами из второй роты, но Фарнелли ещё никогда не говорил с нами на «человеческом» языке, проникновенно убеждая в необходимости сделать всё для победы над теми «сопляками». Именно эта его внезапная человечность и разбудила нашу сознательность. Он мог наорать, угрожая дополнительными нагрузками, затравить оскорблениями или же увлечь поблажками и поощрениями. Но из этого огромного количества вариантов он выбрал, казалось бы, самый ненадёжный – попросил. Это было неожиданно и приятно, ведь мы уже почти забыли, что он тоже человек, который всего лишь выполняет свою работу. И, судя по успехам нашей роты, выполняет хорошо.

На время оставляя разногласия, мы с Квинси переглянулись. Без лишних слов было ясно, что выиграть у этого славного взвода из вымуштрованной второй роты будет совсем не просто. Если бы бежали не всей толпой, а только я или Квинси против особо шустрых из их взвода, я бы в победе не сомневался. Но у нас были человек пять упорно не желавших перенапрягаться, бегавших через силу, из какого-то одолжения всем нам и сержантам, потому лишь, что вовсе не бежать было нельзя. Плюс ещё ставший уже легендарным Томас Уорли, как будто от природы совершенно не способный бегать, быстро потевший и задыхавшийся, потешавший всю базу своими «рекордами». Уорли всегда приходил к финишу последним, и Фар-Горы зло шутили, что он, видимо, намерен довести свой позорный результат в 23 с лишним минуты до трёхзначной цифры. У соперников же такой «черепахи» не было вовсе, зато была стойкая десятка лидеров, каждый из которых сильно уступал бы мне или Квинси, бегай мы один на один. А так – их десять, нас двое. И коварное среднее арифметическое посередине. Не дать им задавить нас результатами – было невероятно сложной задачей. К счастью, всю прошлую неделю погода как с ума сошла – дня три кряду лил дождь, и была даже оглушительная, страшная сорвавшимся природным буйством гроза с градом и ураганным ветром. И хотя было невероятно нудно сидеть в душных помещениях, безнадежно бороться со сном и заниматься скучной теорией, но моей ушибленной ноге это очень понравилось. Проходи эти соревнования на неделю раньше, как и планировалось, у меня не было бы шансов.

Вдохновив как могли, сержанты построили нас на старте. Фарнелли ушёл к «врагам» следить, чтобы всё было честно, а к нам притопал хмурый и неразговорчивый сержант соперников. Мрачно оглядев нас, – может, рассчитывая напугать, а может, от плохого настроения, – он сразу произвёл впечатление человека злого. Но злого не обычно, а будто с оттенком давней привычки. Просто заключил однажды, что все видят в нём исключительно неприятный, взрывной характер, а потому и усвоил быть нелюдимым и грубым, чтобы не разочаровывать или не тратить время на разъяснения.

«Должно быть, Расти тоже таким кажется сначала» – как-то весело подумал я, ни капли не испугавшись этой наносной мрачности. Как правило, такие люди совсем не столь опасны, как хотят казаться. И прекрасно контролируя свой нрав, привыкнув к нему, иногда поражают вежливостью и уступчивостью. Дёрганые, тайно закомплексованные выскочки вроде Квинси куда коварней и зубастей – вот им-то власть над другими точно доверять нельзя. С них станет даже самые мелочные и ничтожнейшие полномочия превратить в маленькую, но суровую тиранию, умеющую легко искалечить душу послабее. Впрочем, как знать... Бывают ведь и сюрпризы.

Едва Горски махнул рукой, как мы с Квинси рванули в отрыв. Не сговариваясь, понеслись, словно бежать нам было не три с лишним километра, а каких-то пару сотен метров. Обоюдно подгоняемые собственным пыхтением, мы будто уже сейчас начинали отбирать друг у друга право разорвать воображаемую финишную ленточку, хотя до неё было ещё ой как далеко. Какой-то дикий, задорный энтузиазм вдруг проснулся во мне. Я решил выжать всё, на что способен, даже если угроблю к чёрту своё колено. Азарт погони, азарт быть лучшим, азарт показать всем свои возможности вцепился в меня мёртвой хваткой. Какое-то истерическое желание ткнуть в лицо Фар-Горам победой, почти непосильной, но потому такой упоительно ценной.

Чутко, как хронический больной, увязший в бесчисленных диагнозах, знающий наизусть любые симптомы и додумывающий их при первом же намёке, я прислушивался к своему телу. Пугался, ошибочно принимая напряжение связок за боль. Но лишь невнятное, чуть заметное подрагивание какого-то вяленького нерва напоминало о травме. И вскоре, захваченный гонкой я забыл и про него. Горски подбадривал нас, как заядлый игрок на скачках, вкладывал в свои выкрики надежду и гордость за свой взвод и заражал нас этой вдохновенной верой. А вражеский сержант поглядывал на секундомер, и по его спокойному лицу совершенно невозможно было распознать, насколько далека от нас олимпийская медаль. Секунды стучались в моих висках, в такт сердцу отсчитывая время до финиша. Наматывая круги, мы уже заметно сбавили темп, но надеялись, что всё же успели заполучить преимущество.

– Давай, Белоснежка, поднажми! – рискуя сбить дыхание, подзадорил Квинси.

Он резко прибавил в скорости. И я, уязвлённый и удивлённый его запасом сил, подхлестывая себя тщеславием и силой воли, рванулся за ним, впритык сопя ему в спину. Последние несколько сотен метров мы боролись за собственные рекорды, за победу над собой, ставили на кон амбиции и последнюю выносливость – изумительное чувство восторга от скорости, от умения подчинить себе свои способности, от восхищения этими возможностями собственного тела...

Квинси всё же не дал мне себя обогнать. Перебрав лишь каких-то семь секунд, чтобы побить рекорд базы, он финишировал первым. И я уступил ему всего пару мгновений. Но обидно мне почему-то не было, моё самолюбие парадоксально промолчало. Едва отдышавшись, мы бросились подбадривать остальных, весело и искренне болели за каждого из своих. И Горски даже не одёрнул нас за это дерзкое безобразие. Вместе с нами он радостно вопил комплименты, закармливая допингом воодушевления, понимая, что наконец-то в его взводе проснулось чувство единства. Что всё же удалось воспитать в нас то, без чего не может существовать ни одна армия – добровольную готовность взять на себя больше, чем положено уставом или приказом, разделить между сильными часть трудностей слабого, надрывающегося под этим грузом. И победить всем вместе там, где победа казалась немыслимой.

Горланя и толкаясь, шумно, весело мы подгоняли последних добегающих. И, к моему удивлению, никто не наплевал на результаты, не пробежал лишь бы как-нибудь, только бы отвязались. Нас лихо впрягли в это соревнование не столько скорости, сколько силы духа и гордости, и мы с каким-то вдохновенным порывом бросили на время все наши дрызги и претензии друг к другу. Наш «черепашка», несчастный, изнемогающий от усталости Уорли, чуть не падающий на финише, потряс всех, побив свой лучший результат почти на две минуты. И это, без сомнения, было настоящим подвигом, просто поразительным, так что Горски даже переспросил у своего угрюмого соседа, не веря названным цифрам. Ещё не зная победили или нет, мы тут же кинулись поздравлять нашего нового героя, запыхавшегося и хрипящего, обалдевшего от набросившейся на него ликующей толпы. Пока сержанты подсчитывали и обсуждали результаты, мы уже праздновали, будто чувствуя, что опередили, что просто не могло быть иначе. Фар-Горы, улыбаясь, объявили, что наш взвод победил с фантастическим отрывом в полторы секунды. Теперь оставалось переплюнуть на полосе препятствий.

Уже строго нас построили и почти бегом, дабы не расслаблялись лишнего, погнали за новыми свершениями. Конкуренты уже были на месте, и их сержанты вовсю наяривали лозунги вида «должен, а значит, обязан», надраивая до блеска коллективную доблесть и самосознание. Вообще, как я слышал, вторая рота всегда была лучшей в нашем батальоне, и никто не завидовал ответственности, придававшей тех страдальцев, кому досталась по наследству эта необходимость снова и снова ломиться в лидеры. Теперь упования их сержантов были лишь на полосу препятствий. Если выиграют они, нас погонят на ещё одну мелкую спортивную битву, перевес в которой уже станет решающим. Дополнительных нагрузок никто из нас не хотел, а потому ещё до пламенных речей Фар-Горов мы уже были согласны выдирать победу зубами.

Но в последний момент сержанты надумали усложнить правила. Постановили бежать не всем стадом, а парами, кои должны были подбираться наугад сержантами противников, и считать не общее время, а по количеству очков. Две пары выпускаются на дистанцию, и тому взводу, чьи двое пришли первыми, презентуют один балл, ну а уж у кого больше – тем и лавры. Это было, с одной стороны, проще, а с другой, сложнее и коварней. Проще потому, что ни нам, ни сержантам не придётся напрягать математические способности, натужно складывать и делить, вычисляя среднее арифметическое вплоть до секунды, а победа в этот раз будет очевиднее и честнее. Но сложнее оттого, что даже если какой-то взвод наберёт больше половины положенных очков, и дальнейшая борьба станет попросту бессмысленной, то всё равно на дистанцию придётся выйти всем, хотя бы из спортивной заносчивости. Только вот я совершенно не представлял себе, как смогу задавить в сознании заведомую бесполезность гонки за мелочным триумфом, если он всё равно ничего не решит. Сила духа понадобится не заурядная, чтобы выйти на старт уже проигравшим, отвлечься от этого однозначного поражения и всё же пройти дистанцию достойно. К тому же выбирать пары будут вражеские сержанты, и вряд ли они захотят облегчить нам задачу. Фар-Горы, правда, настояли, чтобы выбирали по списку, а не выдёргивая из строя кого-то конкретного. В общем и целом, лотерея ещё та получалась.

– Уорли! – рявкнул мрачный тип, и наш «черепашка», всё ещё тяжело сопящий, обречённо вышел вперёд.

Зря мы всё-таки так активно выкрикивали имена товарищей на финише. Уорли был последним, и его имя хорошо запомнилось. Самый уставший из нас теперь был вынужден идти первым на новое испытание. И хоть Фарнелли, несомненно, выберет и у противников самых дохлых, но всё равно было обидно, что мы сами увлечённо выдали соперникам ценную информацию.

– Тейлор!

Я вздрогнул от неожиданности и даже на миг замешкался, не сразу спохватившись выйти из строя. Но наверно, моё имя или не называлось, или забылось, потому что по-другому объяснить неосмотрительность назвать пришедшего вторым и уже отдохнувшего было нельзя. Сержант, похоже, действительно наугад выхватил имя из списка, и в его глазах ясно читалось, что, будь у него возможность переиграть, моей фамилии точно не оказалось бы в числе фаворитов. Но переиграть было нельзя, и мне приходилось идти в паре с увальнем Уорли. Правда, на полосе он был вовсе не так безнадёжен, как могли заподозрить видевшие его в беге, и единственным, что всерьёз мешало, была его усталость.

– Ты как? Отдышался? – невольно волнуясь за нас обоих, вполголоса спросил я.

– Ничего, – неожиданно подбодрил он, – главное – через ту громадину перелезть.

Под громадиной он имел в виду внушительную, почти трёхметровую стену, через которую можно было перелезть только с поддержкой, и хорошо было бы, если б нас было трое. Поодиночке мы оба с трудом подняли бы друг друга, и это было очевидно.

– Я заберусь, а там посмотрим, – лихорадочно соображая, что бы такого выдумать, сказал я.

Но нас уже погнали на старт.

– Не посрами, Тейлор! – Расти, веселясь, окрылил меня напутствием, и из-за его шуток я едва не пропустил сигнал.

По команде мы рванулись вперёд. Чуть позади я слышал натужное пыхтение Уорли и несказанно радовался его так внезапно и кстати обнаружившейся силе воли. Наши соперники топали рядом, заметно уставшие, но упорные в битве за лидерство.

«Их сержанты и впрямь серьёзные ребята, раз сумели так их настроить», – успел порассуждать я, перескакивая через брёвна.

Два с лишним метра стены на некоторое время заслонили от нас весь мир. Уорли немного отстал, и у меня появилась минута подумать. Можно было дожидаться напарника, как и предполагалось всей затеей, но какое-то мальчишеское, разбойничье желание покрасоваться вдруг стукнулось мне в сердце. Когда-то я удирал так из приюта. Стена, пожалуй, была пониже, но ведь и я был меньше. Отбежав метров на пять, я прикидывал мои шансы на такой трюк. Подтянулся Уорли и, не понимая чего я, собственно, добиваюсь так далеко от преграды, автоматически остановился рядом. Разбежавшись, я ткнул рифлёную подошву ботинка в стену где-то немногим ниже метра. Поднимаясь как на невидимую ступеньку, используя инерцию разбега, схватился сразу двумя руками за край. Нога почти соскользнула, когда Томас, проявляя недюжинную смекалку, подставил плечо, и уже через секунду я отлично устроился наверху. Теперь была его очередь. Я протянул руку, но его вес мне явно был не по силам. Наши соперники уже потели у своей половины этого грозного препятствия, и надо было поторапливаться.

– Ну, Томас, держись, – вдохновлённый новой идеей, я развернулся и свесил ногу. – Цепляйся.

Его не понадобилось уговаривать. Едва он сомкнул пальцы на моей лодыжке, как я, переваливаясь корпусом, перевешивая своей тяжестью, весом дополняя силу ног, поднял его, и он наконец-то надёжно ухватился за край. Помогая ему залезть, в азарте такого удачного покорения этой сложной вершины, я забыл его предупредить, чтобы не отпускал меня без команды. А он то ли не догадался, то ли спешил, но отпустил мою ногу, и я, внезапно лишившись противовеса, моментально кувыркнулся со стены. Но как-то очень ловко – всего только немного оцарапал ладонь. Зато слезать мне уже не требовалось.

– Эй, ты живой? – взволнованное, потное лицо Уорли выглядывало сверху.

– Отлично всё. Рули сюда, – я и правда был в прекрасном настроении.

Мы первыми преодолели эту стену, а это было почти равнозначно победе. Дальше – дело техники. Несколько метровых заграждений, перепрыгнуть через которые даже пятилетнему не проблема, и грандиозная лужа под ошетиненной металлической сеткой для игр в пресмыкающихся. С разбега плюхнувшись в сочную грязь, я пополз, вихляя задницей. Помню, первое время я невероятно ненавидел именно этот момент, когда падаешь в липкую жижу как в объятия любимой, а потом смешно и некрасиво ёрзаешь, ползёшь, прижимаясь щекой, к прохладному, омерзительному болотцу, цепляясь одеждой за шипы колючей проволоки. Но сейчас это было просто очередным препятствием, хоть и оставалось самым нелюбимым из-за того, что приходилось потом отстирывать форму от всей этой пакости.

Уорли смачно хлопнулся вслед за мной, и уже через минуту мы стали первыми победителями, сорвав аплодисменты всего взвода. Грязные по уши мы улыбались, театрально раскланиваясь, выкрикивали советы другим. А я впервые почувствовал, что такое по-настоящему быть частью какой-то огромной семьи, где уйма братьев бесят и выводят из себя так, что хронически хочется разбить что-нибудь тяжёлое об их головы. Но лишь появится на пути какая-нибудь вот такая непреодолимая для одиночки стена, как кто-то обязательно подставит тебе

плечо, подаст руку. И ценнее этой бескорыстной, мгновенной и непрошеной взаимовыручки ничего быть на свете не может.

...Потом, когда меня спрашивали, какой день учебного курса я бы назвал самым счастливым, я однозначно отвечал – этот. И многие удивлялись моему ответу, ведь для абсолютного большинства счастливейшим в жизни становился день окончания тренинга, когда нам всем, отмучившимся и радостным, торжественно выдали три дня свободы и заветные береты – символ того, что мы уже почти бойцы, и что наше унижительное звание «рекрут» осталось в прошлом. Но для меня лучшим днём обучения навсегда стал день именно тех азартных соревнований, когда я обрёл частичку того, чего был всегда лишён и что давно не надеялся отыскать.

XIV

Я слушал тихий голос Венеции, её слова, которые словно с трудом понимал, не принимал, но они скатывались мне в душу раскалёнными угольками, тут же терялись где-то там и гасли. Нас разделяла тысяча километров, и может, поэтому мы оба были спокойны. Она старательно что-то поясняла, прохладно извиняясь, а я выслушивал эти новости и чувствовал лишь какое-то странное неудобство. Будто что-то в груди было смято, небрежно заломлено и теперь мешало, как перекрученная лямка на плече.

– Прощай, Венеция, – холодно сказал я, дослушав всё то, что она говорила, будто обязанностью моей было выслушать решительно всё, без остатка, до последнего её вежливого вздоха. Наверное, просто не хотел ей грубить, бросая трубку. Ведь когда-то она для меня много значила. Пусть и не так много, как ей того, возможно, хотелось.

Выдохнув из себя неутешительные новости моей личной жизни, слегка раздражённый этим разговором я пошёл на склад. Завтра должна была быть инспекция, и нас подрядили таскать и пересчитывать коробки, мешки и уйму всякой всячины, дабы высокое начальство осталось довольным. Расти уже был там.

– Тейлор, где тебя носит?.. – он вдруг запнулся. – Ты чего белый такой? Что случилось?

Белый? Хм... Я ничего не чувствовал, кроме какой-то усталости, поспешившей возникнуть от предвкушения долгой и нудной работы в душном помещении. А оказывается, необязательно что-то и чувствовать, чтобы побелеть.

– Ничего не случилось, – равнодушно ответил я. – Венеция замуж выходит.

– Вот су... – споткнувшись об мой свирепый взгляд, Расти глотнул остатки ругательства.

Это *моя* девушка. Пусть бывшая, пусть неверная, но *моя*. И только я могу её оскорбить. Если захочу. А я не хотел. Я вообще сейчас ничего не хотел. И Расти рассудительно не стал выдавать не нужные никому из нас комментарии к этому известию.

Мы таскали тяжёлые ящики, сортировали и упаковывали, лазили в духоте по секциям и ячейкам, сверяли инвентарные номера, снова рассортировывали и раскладывали по местам, номерам, размерам... Томясь от жары и неинтересной, тупой, но необходимой кому-то работы, я думал о том, почему же всё-таки ничего не чувствую. Ни грусти, ни боли, ни раскаяния. Ни желания бежать куда-то, чтобы всё исправить, чтобы просто посмотреть ей в глаза. Лишь уязвлённое самолюбие вяло откликнулось на слова Венеции. Но уколы гордости, безусловно, не единственное, что должен бы испытывать человек, после долгой и вынужденной разлуки с девушкой вдруг услышавший: «Прости, я больше не могу быть с тобой». Нам ведь было хорошо вместе... Даже больше, чем просто «хорошо». Мы прожили рядом почти год, вместе просыпались и засыпали. И хотя бы из какого-то внутреннего уважения к этому году должен я был почувствовать хоть что-то человеческое, сентиментальное, какую-то тоску или жалость? Расти сказал, что я побледнел... Отчего? Значит, всё же что-то вздрогнуло в душе, что-то заболело? Но как может быть, что я об этом не знаю, будто скрыл свою боль от себя самого и забыл об этом? Бессмыслица какая-то...

Меньше полугода понадобилось Венеции, чтобы перечеркнуть те два года нашей жизни, начавшиеся встречей в приюте и закончившиеся только сегодня десятком официальных слов. Меньше двух месяцев понадобилось мне для того же... Ещё на тренинге я перестал о ней думать и оправдывал это тяжестью обучения, бешеным ритмом новой, не спешившей радовать позитивом жизни. Я надеялся, что моё сердце просто спрятало чувства, хранило их в безопасности. Что оно не забыло ту ночь. И что стбит мне увидеть Венецию, прикоснуться к ней, ощутить тепло её губ, как моё сердце тут же проснётся, вспомнит что-то таинственное и удивительное, что сумело уже когда-то испытать.

Но ничего подобного в нашу встречу не произошло. Я ошибся в себе же самом. Впервые я не смог узнать собственную душу...

Красивая, но какая-то совсем чужая, непривычная Венеция выбежала мне навстречу. Вероятно, и она увидела во мне кого-то незнакомого, окрепшего и помрачневшего после жестокой муштры. Нам обоим стало как-то неловко в тот миг, и мы оба заметили это смущение друг в друге. Каждый из нас почему-то рассчитывал увидеть того человека, чью руку отпустил почти три месяца назад, словно забыв, что время идёт и меняет и нас, и всё вокруг. Стыдясь вежливо-радостных слов, своих деланных улыбок, но всё равно улыбаясь, потому что не в силах были признаться ни себе, ни кому-либо в неожиданной и неприятной отчуждённости, мы гуляли по городу, по заброшенному миру общих воспоминаний. Как давние, успевшие забыть друг про друга знакомые, которые случайно встретились, и которым, в общем-то, не о чем говорить, но говорить приходится.

Я не понимал, что происходит. Венеция так близко, что я легко могу прикоснуться к ней. Не об этой ли встрече я мечтал, когда не мог уснуть в казарме? Чего же ждёт моё сердце, чего ещё ему надо?! Я пытался держать в памяти ту ночь, убедить себя, растолкать своё сердце, спешно отыскать те спрятанные ощущения, которые оно, как вор, не хотело мне возвращать. Все те прекрасные фантомы любви и восторга ускользали теперь, пропадали, как долго и неумело хранимые ценности, рассыпающиеся в прах при первом же прикосновении. Будто я ленился удержать их, не хотел принять эту иллюзию эмоций, навязанную сознанием обязанность чувствовать. Равнодушие, как вода, медленно наполняло моё сердце, растворяя этот гаснущий мираж. Не спокойствие, а именно какое-то холодное, неестественное, упрямое безразличие к Венеции, ко всему, что между нами было... Ко всему, что могло бы быть...

Почему она стала мне совсем чужой?

Быть может, вынужденно запёртое в моей душе то похожее на любовь чувство, та страсть, с которой с первого дня разлуки я ждал этой встречи, просто истлела, так и не найдя выхода, выжгла саму себя. В какой-то момент я просто перестал чувствовать её в себе, больше не рвался к телефону, трясущимися пальцами набирая номер рядом с такими же вздрагивавшими от тоскливого нетерпения страдальцами. В суматохе построений и криках сержантов я упустил момент, когда попросту бросил Венецию где-то там, навсегда оставил в темноте ночи. Ночи, ставшей последней для нас...

С тёплой, отстранённой вежливостью я рассеяно слушал её весёлую, но будто спешащую куда-то болтовню, благодарный за всё то, что она подарила мне, чему научила и чем обогатила и разукрасила мою жизнь. Формально улыбающаяся благодарность. И ничего больше.

Венеция говорила без умолку. Расспрашивала про армию, шутила, нарочно и смешно коверкая звания и термины, ужасалась потным, пыльным подробностям тренировок. Рассказывала про свою учёбу, про то, как организовала выставку картин своей матери, и как всё это здорово удалось. Мне, отвыкшему от такого лёгкого общения, было приятно узнавать новости из её жизни, уже хорошо отточенные в рассказах друзьям и знакомым, живые, увлекательные и интересные. Но она будто кружила вокруг да около, лёгкой светской манерностью, занимательными историями стараясь не задеть чего-то главного, опасно обходила это что-то. И я не мог понять почему. Почему она тогда не отважилась спросить напрямую, не вынудила меня ответить на вопросы, наверняка волновавшие нас обоих? Или она боялась меня? Того, чему меня обучали? Быть сильным и безжалостным, идти вперёд, не оглядываясь, и убивать, не задумываясь... Или того, что после вынужденной «голодовки» мои инстинкты накинутся на неё с грубыми поцелуями и приставаниями? Что я изнасилую её, как только мы останемся наедине?.. Возможно, всё это понемногу давило на неё, сковывало какой-то подсознательной опасностью. Не знаю...

И каким же монстром я привиделся ей тогда? Но выяснять это теперь уже поздно и бессмысленно.

...Я уехал тем же вечером, хотя вполне мог остаться ещё на день, но посчитал, что это будет трудно для нас обоих. Трудно искать предлоги для разговора. Трудно остаться наедине ночью. Или *не* остаться и найти объяснение почему, которое бы не задело и не оскорбило никого из нас. Она не хотела мне лгать, выдумывая несуществующие причины, но и решиться на что-то большее, чем простые прогулки, тоже, по-видимому, не хотела. И когда я сказал ей, что должен попрощаться уже сегодня, мгновенное, едва замеченное мною облегчение промелькнуло в её глазах. И несмотря на то, что это было лишь на миг, на крохотную частицу времени, несмотря на то, что следом была неприкрытая, искренняя и трогательная печаль, какое-то робкое отчаяние даже, но именно этого мимолётного облегчения я так и не смог ей простить. Того, что пусть не успеет сама заметить этот вздох освобождения собственной души, она всё же на долю секунды была рада тому, что я уезжаю. И эта доля секунды захлестнула моё сердце обидой, бессильной ревностью и помнилась ещё очень долго.

Уже в аэропорту я всё же поцеловал Венецию. Так, как, пожалуй, должен был поцеловать ещё при встрече, но почему-то не осмелился. И в тот момент что-то всё-таки вздрогнуло во мне, запоздало и безнадежно что-то встрепенулось в сердце. И попроси она меня остаться, я бы остался. Но она не попросила, и я даже не знаю, хотела ли... Никогда не повторявшая свои ошибки дважды, Венеция не стала плакать и хвататься за мои руки как когда-то. Всё, что осталось у меня на память, – один поцелуй – восхитительная весточка из прошлого. И наивное чувство взволнованной гордости. Ведь всегда приятно целовать у всех на виду красивую, обращающую на себя взгляды девушку. Даже если знаешь, что это на прощание...

Я мучился от равнодушия так же, как мучился бы от разочарования или грусти. Я злился на собственное сердце – какое-то неуклюжее и неумелое, – даже в такой, казалось бы, простой ситуации не способное переживать как все. Меня почему-то угнетала эта невозможность моей души проявлять правильные человеческие эмоции, которые я будто спрятал сам от себя, как-то абсурдно и пугающе, нарочно играясь в бездушие. Я привык вчитываться в своё сердце, копаться в эмоциях и ощущениях, анализировать любое чувство, нудно и внимательно изучая детали и малейшие оттенки. И теперь мне словно нечем было заняться. И это раздражало.

– Так и будешь тут сидеть? – Расти осторожно присел рядом.

Иногда он начинал общаться со мной как с душевнобольным, которого доктора запретили волновать, и который внезапно может накинуться и искусать, как бешеная собака. Временами меня даже веселила эта его манера как будто подкрадываться и заранее успокаивать мою им же самим придуманную истерику. Но сегодня моё раздражение пустотой ощущений и правда накинулось на Расти, его тихую, старательную и совершенно бесполезную деликатность.

– Я – ненормальный? – как можно сдержаннее, досадно сознавая всю глупость прозвучавшего, спросил я.

Расти опешил и сразу насторожился, уже одним этим выдавая моей болезненно-обострённой мнительности утвердительный ответ.

– В каком смысле? – уклончиво и бестолково спросил он.

Меня начинала увлекать эта игра в кошки-мышки, нервозно, но всё равно заманчиво, балуя мою душу хоть каким-то подобием эмоций. Прямолинейный до грубости со всеми друзьями Расти только со мной иногда начинал бродить по каким-то загадочным, неизвестно кому нужным смысловым лабиринтам, изображая учтивость и понимание. Будто заслонялся этими ухищрениями вежливости от меня. И почему он это вытворял, мне теперь захотелось выяснить.

– В прямом, – уже не скрывая язвительность, я попытался вызвать его на откровенность. – Считаешь, что я сумасшедший? Признай, что думаешь так иногда.

Расти молча и спокойно смотрел на меня, испытывая терпение, топтался по моей раздражительности, словно бы совсем её не замечая.

– Что молчишь? – не выдержал я его равнодушия.

– Да вот соображаю, когда ты головой успел треснуть настолько, чтобы вопросы такие задавать. Или после тюрьмы и армии рвёшься ещё и в психушку на экскурсию сбегать?

Я усмехнулся, подозревая, что Расти не собирается позволять мне рыться в его душе, зло потешаться с его нервами. Потеряв надежду развлечь себя перепалкой, я замолк.

Но Расти вдруг решил организовать сеанс психотерапии, абсолютно неверно расценив моё хмурое молчание:

– Я тоже психовал, когда барышни заявляли мне нечто подобное. Один раз даже пошёл и настучал по лицу одному такому новому избраннику. Зачем сам не знаю. Так что не считай, что ты один злишься в такой ситуации. Если бы за это диагноз приписывали, то все мужики давно б по палатам сидели и успокоительное по часам пили.

Примерив слова Венеции на себя, Расти ошибочно выдал мне в своём воображении те чувства, которые испытал бы сам на моём месте, не угадав, что именно отсутствие этих естественных для кого угодно эмоций и отравляло сейчас моё сознание. Я зло засмеялся, уязвлённый его самоуверенностью, тем, что он посчитал мою душу такой легко понимаемой тогда, когда я сам запутался в ней, сам не мог ничего понять.

– Спасибо, что так тактично сообщил мне о необходимости похода к психиатру, – я, сам не зная отчего, вдруг захотел ему нагрубить, сорвать в крик, чтобы сбросить свои нервы в эту ссору, как в топку, разбудить своё сердце, пинками вогнать в хоть какие-нибудь переживания.

Но Расти, закрывшись от выпадов скучным сочувствием моей выдуманной боли, не соизволил устроить мне это баловство.

– Ничего, перебесишься, – бесстрастно сообщил он.

Я обессилено вздохнул. Мне всегда было трудно говорить правду, а когда это касалось моих чувств – каких бы то ни было, – то эта трудность граничила с каким-то почти стыдом, что ли. Будто я вынужден был обнажаться при ком-то, добровольно выдавать собственные слабости и уязвимость. Но намёков Расти понимать не желал.

– Не перебешусь, – я устало «выложил карты». – Потому что не бешусь и не бесился. Потому что *ничего* не почувствовал, когда Венеция поделилась своими планами на будущее. Вот и скажи мне теперь – это ненормально?

– Вижу я, как ты не бесишься, – Расти упрямо не хотел принимать мою бесчувственность на веру.

Я покачал головой, уже жалея, что завёл этот разговор. Не знаю почему я вдруг решил, что Расти сможет помочь мне распознать то, чего, возможно, и нет вовсе. Время и расстояние легко излечили тоску по Венеции, и стоило ли удивляться, что моё сердце не пожелало рыться в пыли подзабытых отношений, вытаскивать на свет притворную грусть ради моего дурацкого успокоения, стремления быть как все, усвоенного знания как именно надо правильно терзаться. И словно подтверждая эту мысль, Расти вдруг надумал развернуть свою проповедь на 180°.

– А если не чувствуешь ничего, так это даже лучше. Значит, сам видел уже давно, что эта... что Венеция тебе не подходит. И к чему тогда мучиться? Я лично вообще не представляю, как ты протянул с ней так долго...

Моя растравленная, раззадоренная душевная чуткость моментально вцепилась в эти неосторожные слова, в какую-то интонацию даже, тенью скользнувшую между строк. Грубая и тревожная догадка прохладой легла мне на лопатки.

– Ты, я смотрю, успел хорошо её изучить, – я стоял спиной, не желая видеть его глаза, не в силах натолкнуться на легкомысленную ложь и унижить нас обоих сознанием этой лжи.

Я ждал возмущения и крика, которые спасли бы нашу дружбу, хотя и знал, что это лишь пустая, ничего не стоящая надежда, глупая, суетливая трусость после так храбро сорвавшихся слов. Зло усмехаясь, я толкал свою решимость в спину, понимая, что ничего хуже нельзя и придумать, чем вот так остановиться на полпути, слишком поздно послушаться малодушия и отступить, навсегда отравившись так и не разрешившимися сомнениями. Какая-то холодная ярость душила меня, медленно и с удовольствием вгрызаясь в сердце. Я бесился оттого, что, так долго томясь этими вопросами, всё же стойко держал их на привязи, и почему-то именно теперь бессмысленно, нескладно, неизвестно зачем, будто уколотый в бок каким-то чёртом, встрял в этот ненужный, пошлый разговор. Словно от какой-то дурной злости решив угробить вместе с призраком личной жизни ещё и дружбу.

Зная уже совершенно точно, что *не хочу* слышать ответ, но зная с такой же самой точностью, что и без ответов уйти не смогу, как канатоходец над пропастью, которому никак нельзя останавливаться, я собрался с духом и развернулся к Расти:

– Не поделишься подробностями?

Он растерянно кашлянул, и моё сердце пропустило пару ударов.

– Ну давай, Расти, говори уже, пока я фантазию не подключил, – я устало злился от необходимости подбадривать ещё и его, ускорять убийство собственных нервов и без того израненных услужливым, подсовывающим гнусные, выдуманные детали воображением.

– Я с ней не спал, – вдруг проговорил Расти, будто на что-то решившись.

И именно эта интонация признания, эта тщательность в подборе слов, так резко отличавшаяся от смысла сказанного, и не дала мне облегчённо выдохнуть. Расти, определённо, не хотел врать, но и всей правды сказать не желал. Цеплялся за свою скрытность, рассчитывая удержать какой-то последний рубеж нашего братства. Но моя впечатлительность губила нашу дружбу куда активней, чем нечто скрываемое им. А потому я не дал ему отмолчаться.

– И чего тогда краснеешь как девственница?

Расти снова подавился смущением.

Я мысленно заряжал пистолет.

– Потому что пытался, – наконец-то сдался Расти.

Но мне эта капитуляция мало чем помогла. Я просто не смог воткнуть эту идею в мозг.

– Ты пытался переспать с Венецией? – старательно разделял слова, понимая, насколько глупо звучит это уточнение, но панически не желая поверить, что Расти говорит именно об этом. Я всё ещё сопротивлялся, боясь уже очевидного факта.

Расти послушно и недвусмысленно кивнул, лишая мою трусливо-терпеливую надежду последней зыбкой опоры.

– Зашибись денёк! Столько нового узнал, – яростно и бестолково я теперь мечтал лишь никогда не начинать этот разговор, нелепо и жестоко похоронивший нашу с Расти дружбу. Но слишком поздно я захотел забыть про эти десять минут, зачеркнувшие почти пять лет доверия, взаимопомощи.

Мне нужно было время, чтобы хотя бы попытаться сложить всё это в голове. И я ушёл, оставив Расти в одиночку отбиваться от комплекса вины.

XV

Уже минут десять я смотрел в книгу и, как баран, безуспешно силился понять значение написанного. Разум выхватывал из текста слова, расставлял их в строчки и тут же выбрасывал, даже не стремясь сложить в какую-то цепочку. Я снова и снова упирался глазами в начало абзаца, снова упрямо старался вникнуть в написанное. Все мои мысли прыгали как блохи, возвращаясь к тому дню. Сначала Венеция ошарашила меня своей свадьбой. Потом Расти... Какого чёрта он вообще сознался?! Я уже молчу про саму формулировку «пытался переспать»? Мне было бы намного проще принять событие с названием «переспал», но вот «пытаться»... Это загоняло меня в какой-то тёмный, унылый тупик.

Что это значит? Приставал, а она отказала? Тогда так бы и сказал. Или не отказала? И всё-таки не переспали? Бред...

Что происходит в этом мире? Что, чёрт возьми, со мной творится?! Через два дня моя душа вдруг решила ожить. Уколотая и растревоженная разговором с Расти она почему-то только сейчас вспомнила, что должна чувствовать. Я переставал понимать сам себя. Я будто вошёл в темноте в чужую – захламленную и тесную – квартиру, перепутав её со своей, и теперь всюду натёкался на незнакомые, непривычные углы, горячился и раздражался от глупости своей и чужой, но не мог ничего исправить, не мог выйти из этого лабиринта своих эмоций. Почему я именно сейчас заикнулся на измене девушки, уже однозначно оставшейся в прошлом? И я не просто думал об этом, о ней, а будто ничего вокруг кроме этого не видел, не хотел знать. Как душевнобольной, маялся от картинок прошлого, то и дело дразнивших меня. Моё сердце словно бы опоздало пережить всё вовремя и теперь спешно разбрасывало этот ворох ощущений, превращая их в невообразимый хаос, в котором само же было не в состоянии разобраться. Меня будто встряхнул кто-то, перемешал всё в душе, и этот чудовищный бардак теперь надо было разгрести, но я не знал как. Яркие, сильные чувства поминутно хватались за меня, тянули то в злость, то в какую-то колкую, противоестественную весёлость. Я не мог простить себе своего же любопытства, Расти его занудную, беспощадную честность. Хотя так же прекрасно сознавал, что соври он мне, выдумай что-нибудь – я не прощал бы ему уклончивой лжи ровно с той же силой.

...Венеция будто столкнула мой хрупкий, шаткий мир с опор, и он полетел в какую-то пропасть. И этого я не мог ей простить больше, чем любую измену, чем любые жестокие слова. Этой тщательно выверенной откровенности, будто заученных фраз, прозвучавших холодно и безжизненно, сказанных только потому, что скрывать дальше что-либо стало бессмысленно. Зачем нужно было сообщать мне о своей помолвке? Какая давняя обида помешала ей ограничиться лишь формальным расторжением наших отношений без кромсания моей гордости лишними подробностями? Моё сомнение металось, как раненый зверь в клетке, кидалось на мои же нервы в бессильном бешенстве. И этого я не мог понять. Ведь никакой любви, которая когда-то, быть может, и была, теперь уже точно не осталось. И позвони мне Венеция с какими-нибудь слезливыми напоминаниями о нашем прошлом, ничего, кроме тихого, прохладного раздражения, я бы, пожалуй, и не испытал. Так какого дьявола мне не дышит спокойно?!

Я злился, сам не зная на что и на кого, страдал от этой злости, будто мне и впрямь разбили сердце. Я не мог ей простить ту пусть мнимую, но такую оскорбительную лёгкость, с которой она утешилась, нашла кого-то так быстро, словно решила на это, едва я шагнул за порог. И именно этой придуманной мною же и только что поспешностью я и попрекал её в своём воображении. Предавший наши чувства намного раньше, я теперь подкупал свою притихшую совесть этими гнусными подозрениями. Упрямо отворачиваясь от собственной вины перед Венецией и грубо отказывая ей в способности искренне переживать, оставлял лишь холодный

расчёт, так удобно успокаивавший мою совесть. Ведь чего я мог ожидать? Молодая, красивая, раскованная девушка, никогда и ничего мне не обещавшая и не дождавшаяся обещаний от меня, оставлена в мире соблазнов и возможностей надеяться на нечто мифическое, пока я тут, как монах на цепи, не видел ничего, кроме мишеней, пыли и нервных сержантов...

– Тейлор! Тебе письмо.

Я вывалился из своих мыслей как из сна. Это было слишком похоже на шутку. Всё ещё насилюя память в поисках того, кто мог бы мне написать, я взял в руки конверт. Но шутка оказалась куда более забавной, чем можно было предположить. Аккуратным, плавным, будто ласковым почерком Венеции на конверте было написано моё имя. Доверенные бумаге чувства, заблудившиеся в почтовых лабиринтах, сильно опоздавшие, они всё же могли, вероятно, пролить свет на что-то, разрешить какие-нибудь мучившие меня сомнения. Но я не пожелал расстаться с ржавым гвоздём обиды, которым так самозабвенно ковырялся в собственном мазохизме.

– Спенсер! – со злобной, некрасивой весёлостью окликнул я. – Будешь смеяться, но это, видимо, тебе, – и швырнул ему конверт.

Никогда раньше я не называл Расти по фамилии, и только в эти два дня, сознательно подчёркивая лишь служебную, вынужденную необходимость общаться, я изобрёл этот новый способ унижения. Он хладнокровно переживал все мои выходки, может быть, рассчитывая, что я всё-таки перебешусь, а может, тем своим признанием разорвав нашу дружбу ещё прежде, чем это сделал я. Так или иначе, но он был убийственно, гнусно спокоен всё это время. Будто вовсе не испытывал ничего похожего на чувство вины, совершенно не обращая внимания на моё хмурое, безмолвное обвинение в предательстве. Он не ходил за мной как верная собака, не пытался поговорить и объяснить, не оправдывался и не извинялся. А я жаждал его извинений, выдумывал их за него, ждал их, хоть и знал, что капризно не приму их тотчас же, что оттолкну его немедленно при первой же попытке реанимировать нашу дружбу.

Но Расти молчал и отстранялся. А я злился, изнывая от невозможности дать выход этой злости, освободиться от неё, забыть и простить тот разговор, наплевать на всё сказанное и сделанное когда-то давно и снова протянуть ему руку... И это неожиданное письмо из прошлого могло бы стать поводом начать переговоры. Но Расти вернул мне этот ультиматум безразлично и тайно, избегая любых разговоров. Он будто решил разом изувечить все мои нервы, ничего не оставляя на потом.

Вечером я обнаружил этот запечатанный, всё так же таинственно что-то обещавший прямоугольник конверта на своей кровати. Сердце вдруг ударило очень больно, словно ошиблось и натолкнулось на грудную клетку. И неожиданно чётко и ясно вспомнилось: она сидела и смотрела, насмешливо вздёрнув углы губ, и бесовские жёлтые искры вспыхивали в её сумеречных дымчато-зелёных глазах... После я привык к этой её манере неотрывно следить, контролируя каждое движение, молчаливо выпытывать что-то из глубин самого сердца, минуя разум и звуки слов. Что пыталась она прочесть во мне, вот так чуть наклонив голову, пряча прищуром грустную иронию?.. Когда-то меня смущала её неподвижность и сдержанность, её задумчивая улыбка. Но вместе с тем как будто и нравилась эта внезапная прямота взгляда из-под бровей, и неизменно возникающее следом мгновенное чувство какой-то парадоксальной, неосознанной, неведомо чем рождённой вины... И этот тёмный ступок отчаяния, всегда живший где-то в зрачке, прячущийся и выжидающий каких-то слов и признаний... И тайное, будто запретное движение губами перед поцелуем...

Я зло сгрёб конверт, грубо сминая, швырнул, не оглядываясь и не целясь, куда-то за спину, в сторону койки Расти. Дурдом, творившийся в моей душе, начинал всерьёз меня пугать. Почему теперь, через столько лет, глядя на конверт с кружевом почерка Венеции, я вдруг вспомнил ту женщину? Первой приоткрывшей передо мной мир страсти и чувственных восторгов...

– Твоему сердцу ещё многому придётся научиться, – сказала она мне когда-то, печально улыбаясь.

И похоже, была права. Как ни старался я избежать этих уроков, страшась боли и ран той жуткой, причудливой и восхитительной науки, но моё сердце снова и снова попадалось в какие-то капканы, наступалось когтистыми лапами эмоций, приучалось выживать в изменчивом и жестоком мире чувств...

XVI

Это был один из немногих действительно странных периодов моей жизни. Мне только-только исполнилось 16 – самый пик взросления, оголтелого стремления к самостоятельности. Некое перепутье в формировании личности, раздираемое гормонами и противоречиями, ясное и глупое понимание то собственной исключительности, то закомплексованной ничтожности...

Я с трудом уживался тогда в приюте. Не в силах усмирить свой характер, всюду натыкался на конфликты и проблемы, ссорился по пустякам и нарывался. Знакомство с Вегасом и Расти давало мне чувство тайного, упоительного превосходства, недоступного, как мне казалось, никому другому, – будто некую власть, скрытно волнующую душу. И я нагнул и дерзил всем и каждому, сознавая эту весьма невнятную силу за плечами. Но, поднимая мою гордыню до каких-то совершенно невероятных высот, эта сила никак не могла защитить меня в стенах приюта. И мне всё труднее было мириться с вынужденной, унижительной серостью моего положения там, всё сложнее было укрощать свой нрав, неуёмный и рискующий навлечь на меня всё больше неприятностей. Тихое брожение таких же несостоявшихся, лишь приравнивающихся к миру и друг другу темпераментов, иногда накалялось до тревожной отметки, и жить в этом коллективе более или менее комфортно становилось непосильной задачей.

По своей давней привычке я искал способ сбежать из этой затхлой, давящей морально атмосферы. И когда на пороге приюта объявилась та приятная пара, я даже обрадовался. Почему эти успешные, симпатичные люди хотели взять парня вроде меня, вместо какого-нибудь милого, восторженно-радостного малыша, меня тогда мало интересовало. Такое часто бывало – взрослые игры, вроде ухода от налогов, погони за пособиями и надбавками, билетик в рай за копеечное, не требующее больших усилий милосердие... Да мало ли ради чего разбирают детей из приютов! И с относительно взрослым, вполне самостоятельным парнем проблем и ответственности заметно меньше, чем с вопящим по ночам, капризничающим и не умеющим о себе позаботиться детёнышем.

В этой новой семье мне сразу понравилось. Небольшой, но весь какой-то уютный дом, своя комната, – а я даже не помнил, когда у меня была такая роскошь. Очередные «родители» – супруги МакКинтайр – оказались удивительно вежливыми, не лезли без надобности с душевными беседами, не пытались намекать на приевшиеся семейные ценности. Мягко и ненавязчиво показали дом, вскользь упомянули несколько правил, которые нежелательно было нарушать, и оставили меня в покое. Оглядываясь на самого себя в то время, могу сказать, что, пожалуй, не был очень уж трудным, агрессивным в охоте за самостоятельностью подростком. На фоне своих ровесников – бунтарей и задир, гордящихся психованной злостью, – я был даже воспитан, прекрасно понимая, что несоблюдением элементарных норм приличия, каких-то довольно простых, но принципиальных правил, я вредил только самому себе и никому больше. Привычно и умело я прятал свои разгульно-бесноватые эмоции, старательно скрывался за почтительной, заученной вежливостью, предпочитая жить двойной жизнью, выпуская себя настоящего на ночные прогулки, как оборотня. И мне, и другим так было проще, и потому с новыми опекунами мы как-то быстро сошлись, и мне они даже приглянулись своей прохладной, отстранённой тактичностью. В школе тоже всё было неплохо, и хоть я еле-еле вытягивал на средний балл, моих «родителей» это не особенно заботило. Всё очень удобно и деликатно списывалось на стресс, психологию и адаптацию. Леня пояснила бы гораздо проще и эффективней, но моё новое окружение оказалось на диво обходительным, избавив мои уставшие, истрёпанные гормонами нервы от ненужных моральных наставлений.

Первые подводные камни обнаружили совсем не скоро. На каникулах меня не отпустили в летний лагерь, куда собрался почти весь класс. Не скажу, что я расстроился оттого, что не мог поехать на этот сомнительный, абсолютно неинтересный отдых. Просто не разре-

шили мне ещё прежде того, как я высказал какое-либо пожелание в принципе туда поехать, – слишком поспешно и суется, будто опережая мои вопросы своими аргументами. И эта спешность отказа на несуществующую просьбу, странные, с ноткой даже какой-то паники уговоры и запреты аврально подняли мою подозрительность. И хотя всё это не менее энергично и активно заштриховали моей же плохой успеваемостью в школе, мой врождённый инстинкт внимательности к мелочам – натренированный и бдительный – не давал мне успокоиться. Почти ничего не изменилось, кроме того, что вместо школы я теперь полдня проводил дома, вынужденно и бесполезно тарасился в книги, прилежно делая вид, что подтягиваю учёбу. Смысла в этом не было никакого, так как мои безрадостные оценки объяснялись исключительно стремлением расслабиться, отдохнуть от осточертевших уроков, которыми я промышлял в приюте, делая за других домашние задания и всяческую бесконечную письменную дребедень, так необходимую учителям в школах. В том бездомном, дёрганом сборище это обеспечивало мне некоторое спокойствие жизни, а потому я привык плевать на собственные оценки, уже давно не соответствовавшие реальности моих познаний. И теперь я томился, перечитывая давно известное и выученное, порционно радуя своей «внезапно проснувшейся» сообразительностью.

Заигравшись в роль моего репетитора, милая миссис МакКинтайр стала как будто раскованней, дружелюбней, чаще смеялась, и всё яснее замечалось в этой весёлости что-то невнятное и не совсем естественное. Иногда, выдумывая мелкие поручения, в которых ей необходима была моя помощь, она как будто смущалась этих вполне обоснованных просьб, как будто бы требовалось ещё какое-то дополнительное оправдание, и она многословно пыталась его найти. Моё любопытство оживилось и насторожилось от этой её общительности, потребности быть поближе ко мне. В ход шли почти любые предлоги, и эта скромная «материнская» забота всё отчётливей пахла вовсе не родственными чаяниями тонкой женской души.

В приюте с нами периодически разговаривали осторожные в словах психологи, выдавали памятки и щедро снабжали наставлениями. Но эти лекции были каплей в море той информации, которая бродила между детьми, с беззастенчивыми подробностями передававшими друг другу драгоценный опыт. Немало взрослых, возможно, узнали бы много нового, прислушайся они к разного рода историям и сплетням, которыми мы привыкли делиться, с запасом которых выходили в мир, учились быстро и безошибочно распознавать скрытые швы жизни. И в этом доме, как и в любом другом, я прежде всего обыскал ванную и свою комнату – последнее, о чём мечталось, это мой стриптиз в «избранном» у какого-нибудь извращенца. Слава богу, камеры мне ещё ни разу не попадались, но это не значило, что они никогда не появятся, а потому моя паранойя время от времени обшаривала все углы. Но с шутками вроде тех, что затеяла миссис МакКинтайр, с полными призрачных намёков и загадок подобными отношениями, я сталкивался впервые и не очень-то понимал, как именно должен себя вести. Спрятавшись за искусственной наивностью, упорно не желающий помогать этой игре, я наблюдал, развлекаясь новым, необычным опытом. Стараясь не выдать себя, опасно экспериментируя с улыбками, взглядами, лёгкими, словно нечаянными прикосновениями, я баловался с этими бесценными для меня ощущениями. Как лакмусовая бумажка, миссис МакКинтайр чутко отражала все мои крохотные победы и поражения, а я усердно изучал эти тончайшие признаки женского благоволения. Это было довольно странно – мы оба будто отрабатывали парный танец, но на приличном, тщательно выверенном расстоянии друг от друга, топтались в томном ожидании первого шага навстречу. И оба прилежно делали вид, что все эти топтания и намёки, касания и взгляды случайны и невинны, и никак нас не обяжут.

Мне было очень интересно рассмотреть, что же движет этой женщиной в оригинальной затее, которой она сама же стыдилась, но будто из упрямства или азарта не хотела забросить. Стеснительная как девочка, она петляла в собственной интриге, тихо вовлекала меня в этот диковинный ритуал ухаживаний. Я же продолжал изображать наивность и неуклюжесть, и,

затаив дыхание, ждал, когда же к этому веселью присоединится мистер «папа». А главное, в какой роли. Кстати сказать, его я вообще видел мало – уходил рано, приходил поздно, ездил в какие-то командировки «по работе». Уверен, было у него что-то на стороне, может быть, даже ещё одна семья. И кажется, миссис «мама» всё знала, заметно нервничала, но терпела из каких-то своих соображений. Вывеска вежливости, невидимым полотнищем трепыхавшаяся на ухоженном фасаде этого дома, обязывала молчать и холодно улыбаться.

Иногда, очень редко, они всё же ссорились из-за каких-то банальных, ничего не стоящих и ничего не решающих мелочей, хотя проблема была в чём-то совсем другом. Но они оба ловко обходили её, и оттого все эти сдержанные, деликатные выкрики и претензии были как-то особенно нелепы. Порой, после этих неестественно тихих скандалов он уходил и не появлялся несколько дней. А она бродила по дому, как будто чем-то озадаченная, потерявшая что-то или забывшая, куда положила это что-то, хотя и улыбалась всё так же привычно и с готовностью. Потому невозможно было понять, что же она чувствует на самом деле, и кто из них больше мучается в этом браке. Да и чего ради они вместе тоже было не ясно. И чем дальше, тем больше меня начинала напрягать эта общая личина безграничной деликатности, эта кукольная, разрисованная ложью ширма вежливости, за которой незримо копились какие-то проблемы, насильно скрываемые там ещё прежде любой попытки решить их, помочь своим же отношениям, оживить их пусть маленькой, но искренностью. Рано или поздно эти проблемы грозили завалить их с головой, и хорошо, если никто не пострадает слишком серьёзно от этой семейной катастрофы.

По-своему мне было жаль эту женщину, невероятно униженную всем тем ореолом полупрозрачной лжи, обиженную человеком, которого, наверное, любила и ради которого соглашалась терпеть всё это, находя утешение лишь во мнении окружающих, активно восторгавшихся голой видимостью идеальных отношений. Только со мной, может, привыкнув ко мне, или же попросту считая меня ещё вполне глупым для безопасной откровенности, она иногда робко приоткрывала какие-то уголки разучившейся жить на виду души. И хотя в такие моменты мы чаще всего не говорили ни слова, но ей как будто было и довольно моей интуитивной способности молчать, когда надо. Как актёр за кулисами, она устало отдыхала, чтобы через минуту снова выйти на сцену и сосредоточенно играть навязанную, быть может, вовсе не свойственную ей, но прижившуюся в сердце роль.

И вот в один из таких моментов я и совершил свою вряд ли единственную, но, определённо, самую большую из ошибок. Открыто и не таясь, я ей посочувствовал, в порыве великодушия забыв, что пусть единожды и всего на миг снятая маска тут же становится бесполезной. Обнажив свою наблюдательность, я неосторожно пересёк какой-то рубеж, возможно, растерзав тем самым гордость этой женщины ещё больше. Тем, что понимал её положение и смел жалеть. Что волнения её молодой, но ради каких-то принципов похороненной в этом прохладном, расчётливом браке души, стремления и желания, невольно баюкающие её сознание, прорывавшиеся в тихом смехе и мимолётных, будто вздрагивающих взглядах, – всё это с самого начала было почти очевидным для меня, угаданным быстро, но всё же скрываемым для какой-то своей выгоды. Столкнувшись с этой новой, не предвиденной ею ложью, она как-то удивлённо и внимательно всматривалась мне в глаза. Своей нахальной бестактностью я лишил её единственной известной ей защиты – деланной, неисчерпаемой, улыбочивой холодности, помогавшей до сих пор хранить видимость счастья в любой ситуации. Теперь же обе наши маски разбились разом. И мы как будто впервые увидели друг друга настоящими, впервые заглянули друг другу в глаза, а не в стеклянный, искусно выполненный муляж. Думаю, мы оба испугались тогда этой минутной беззащитности, обнажённости эмоций...

И с того момента миссис МакКинтайр вдруг перешла к достаточно агрессивной и порой даже грубой тактике. Будто назло кому-то ломала свою привычную к подделкам настроений и чувств натуру, иногда нарочно и преувеличенно, упиваясь какой-то излишней откровенно-

стью. Намёки её становились всё определённой, и вскоре их разве что лишь полный идиот не понял бы. В редкие часы общих застолий это и вовсе переходило в какой-то фарс, противный, глупый и опасный одновременно. Она дразнила мною замороженное спокойствие супруга, и мне это совсем не нравилось. Не было никаких гарантий, что гнев его оскорблённого чувства собственного достоинства сумеет вовремя разобраться в причинах и приоритетах, и мне не достанется по голове чем-нибудь увесистым. А ей же, наверное, очень сильно хотелось, чтобы кое-кто в этом аккуратном доме чем-нибудь подавился, и желательно, чтобы при ней.

Мистер МакКинтайр мрачнел, но держался, и надо заметить, весьма неплохо. Как ни странно, но его отношение именно ко мне внешне никак не менялось. Он всё так же был отстранённо вежлив, ограничивая общение со мной автоматически натягивавшимися на лицо улыбками, равнодушными фразами про школу или здоровье. И мысль, что моё «приобретение» было гласно или не гласно одобрено на семейном совете, всё чаще застревала у меня в голове. Очень было похоже, что именно ради развлечения тоскующей леди, я и появился в этом доме. Но если раньше идея «а почему бы и нет?» довольно назойливо посещала моё сознание – так что пару раз я почти решился, и только соображение, что эта женщина мне всё же вроде приёмной родственницы, затормаживало влияние гормонов, – то сейчас я попросту боялся раскачать и без того опасно близкую к катастрофе апатию этого дома.

Всячески избегая миссис МакКинтайр, удирая на улицу, шляясь допоздна, под любыми предложениями задерживаясь в школе, где с перепугу стал даже лучше учиться, я старательно давал ей понять, что не намерен участвовать в её сомнительной мести мужу за какие-то не известные мне обиды. Но вместо того, чтобы остановиться, она словно вошла во вкус, наслаждалась забытой свободой проявления желаний, уже не стесняясь показывая, чего именно ждёт от меня. Мне льстила эта её активная искренность, но мой страх был сильнее любых порочных инстинктов, и никакое тщеславие, как ни пыталось, не способно было задушить мою трусость. Стать жертвой чьей-то угрюмой ревности в мои планы никогда не входило. Равно как и быть комнатной собачкой, подобранной и отмытой добрыми людьми, и теперь вынужденной покорно и предано служить за эту частичку милости.

Я честно предоставил нам всем возможность избежать неловкости. Но есть натуры, которые, раз испытав стыд, вскрыв в себе что-то низменное, не совсем приличное по их представлениям, принимают это с каким-то захлёбывающимся восторгом, будто убеждая самих себя, пряча давние комплексы в собственной раскованности. Нарочно ищут в себе грязь и слабости и, даже не найдя их, додумывают и изображают много лишнего. И вот они, раз начав играть эту развязную роль, понимая всю нелепость своей наигранной пошлости, тем не менее никак не могут остановиться. Будто путь к пороку, к какой-то последней черте, которую они сами себе наметили, не постепенен, не шаг за шагом, а подобен падению в пропасть, единожды сорвавшись в которую так и летишь на самое дно. И, когда в очередной раз под видом срочной стирки она стянула с меня футболку, зная, что никак иначе всё это уже не остановить, я не выдержал. Твёрдо глядя в глаза, серьёзно и почти угрожающе сказал, что лучше бы нам расстаться, пока кое-кому не пришлось выслушать интересные истории про мальчика-сироту и его слишком отзывчивую милую «маму». Несколько секунд она смотрела на меня, и я впервые увидел, как белеет человек. Раньше, считая, что говорится так не ради красоты слога, я всё же полагал, что процесс этот достаточно медленный, как если бы белая краска проявлялась через кожу. Но это действие оказалось почти мгновенным – слинял румянец, выцвели губы, глаза стали больше и как-то отчаянней – и всё это меньше, чем за секунду, я даже моргнуть не успел.

Всё так же не сводя с меня глаз, она отбросила смятую футболку куда-то вбок и, изящно приподняв подбородок, вlepила мне звонкую, прекрасно исполненную пощёчину. Чувствовалась рука профессионала – меня мотнуло в сторону, хоть я и приготовился. В общем, всё это получилось как-то грациозно и торжественно, как на театральных подмостках. Но я всё испортил.

«Первая моя брошенная женщина, которая даже и не была моей, отвесила мне первую в моей жизни пощёчину, и вот, похоже, именно теперь, крайне оригинальным образом я и становлюсь мужчиной», – эта шальная мысль вдруг сильно меня развеселила. И по неопытности я не смог сдержать улыбку. Миссис МакКинтайр вспыхнула, моментально сменив цвет лица на вполне румяный, и на весь остаток дня гневно и возмущённо скрылась в супружеской спальне.

Вечером, сидя в комнате, которая даже формально уже не могла называться моей, я слышал бойкие, жалобные причитания. И, судя по длительности этих подвываний, наш простой, в сущности, разговор приобрёл множество кудрявых подробностей.

Ну может, хоть так они смогут начать решать наконец-то свои проблемы, может, я напоследок всё же расшевелил их стоячее болото тактичности?

Что придётся паковать вещи, я не сомневался. Но вот насколько легко всё обойдётся для меня – это вопрос. Органами опеки и тому подобным угрожать удобно, только я совсем не представлял, насколько эффективно действует эта система. Подозревая, что увлекаемый бестолковым любопытством, жадой рискованных душевных экспериментов, влез в какие-то дебри – непонятные и очень возможно, что и опасные, – я сейчас нервничал от лихорадочных, суетливых предчувствий. При плохом раскладе эти вежливые МакКинтайры могут запереть меня в подвале и делать, что захотят. Школа забьёт тревогу в лучшем случае дня через три, плюс мистер и миссис люди явно не глупые и догадаются заявить в полицию о «пропаже» любимого сиротки. Три дня плюс бесконечность – вовсе не радужная перспектива...

Моя фантазия, роаясь в архивах памяти, выискивая страшные истории из криминальных новостей, никак не помогала мне успокоиться. И я почти уже решился на тайный и бессмысленный побег, когда сентиментальный роман в лицах вдруг закончился. Я напрягся, прислушиваясь к тишине за дверью. Долго никто не шёл, и я даже устал насилловать свой слух. Но он всё-таки постучал – негромко и как будто осторожно, – с педантичной вежливостью, уже раздражавшей до неврастения, выдержал солидную паузу и вошёл.

– Ты не спишь?

«Уснёшь тут, как же!» – озлобленно подумал я, но не рискнул ему грубить. Вместо ответа просто поднялся, одетый и совершенно очевидно даже не пытавшийся спать.

Он вальяжно прошёлся по комнате. Захотелось подогнать его пинками – это томление было, кажется, хуже, чем подвал на три плюс бесконечность дня.

– Жена сказала, что ты просишься обратно в приют, – говоря с кем-то о ней, он всегда называл её «жена», отстранённо и прохладно до жути. – Почему? Тебе у нас не понравилось?

Вкрадчивый, убийственно вежливый, не в силах отказаться от своей приросшей, впившейся ему в душу маски, он всё ещё продолжал играть.

Страшный, безумный, бездушный дом с какими-то манекенами, мастерски изображающими людей. Господи, помоги мне отсюда выбраться...

– Не сошлись характерами, – упрямо и напряжённо я поймал его настороженный взгляд. Впервые я заглянул в серую мглу его глаз.

Впервые он позволил мне это.

Интересно, как это работает? Вот этот иногда секундный обмен искренностью, молчаливое столкновение взглядов, после которого ничего больше говорить не приходится...

На следующий день меня отвезли обратно в приют.

Прощаясь, с неизменной вежливостью мистер МакКинтайр протянул мне руку, тем самым будто заключая некий деликатный договор о неразглашении. Теперь он ждал мой взгляд, и я, довольный уже тем, что обошлось без подвалов и извращений, пожал его руку, безмолвно заверив в собственной скрытности. Тем более что разглашать особо было и нечего.

Но едва выдохнув в безопасности казённых стен, отпустив на время своё уставшее от придумывания всяческих ужасов, мнительное воображение, выспавшись и успокоившись, я уже очень скоро пожалел, что сбежал, так и не воспользовавшись столь беззастенчиво предоставляемым шансом. Терзаясь этими сожалениями, оглушаемый снами и грёзами, упаковав эту мечту в необходимость просить прощения за грубое, пусть и не совсем вольное оскорбление, через несколько недель, отчаянно труся и волнуясь, я всё же пришёл к тому дому. Никак не мог заставить себя войти, панически камуфлируя показной вежливостью своё бесстыдное истинное желание. И судьбе, как часто и бывало, пришлось решить за меня. Дверь вдруг открылась, и миссис МакКинтайр, видимо, куда-то собравшаяся, замерла на пороге.

...Никогда не забуду её глаза в тот момент. Вряд ли когда-либо ещё удивить кого-то мне было настолько приятно.

Наверное, я покраснел, потому что удивление в её глазах вдруг как-то потеплело, сменилось ласково-ироничными отблесками, и, чуть заметно усмехнувшись, она отстранилась, молча пропуская меня в дом.

XVII

Кейт... Я улыбнулся, вспомнив, что за всё время нашего общения лишь раз назвал её по имени, почти случайно и неловко, и тут же как будто и испугался, словно сказал что-то непозволительное, невежливое... Слишком много странного было в тех первых моих отношениях, слишком запуталось моё сердце, формируя невольные и во многом ложные стандарты на такой зыбкой, необычной основе. Таинственная душа той женщины – миссис Кейт МакКинтайр – многому меня научила, но я так и не смог понять, *что* же такое любовь, как разгадать её и существует ли она вообще. Быть может, это лишь терпение с привкусом страсти, расчёт ищущей спокойного комфорта души? Или то бесноватое, страшное самозабвением чувство, которое толкает на подлость или даже убийство, то, чем принято оправдывать разбушевавшуюся ревность или похоть? Как различить эту многоликую эмоцию в толпе чувств?

Кейт никогда не отвечала на такие мои вопросы, никогда не раскрывалась в искренности, то ли споткнувшись раз о моё коварство, то ли по давно заведённой привычке хранить втайне от других всё познанное своей душой. Она любила мужа, ценила его и никогда не скрывала этого от меня, хотя я и не желал понимать, как эта абсурдная любовь, больше похожая на фанатичную, упрямую привязанность, уживается в её сердце рядом с унижением и обидой. Но кем я был для неё, так и не смогла объяснить. Был ли я чем-то большим, чем просто развлечением, отдушиной для заскучавшей страсти? Или связала нас одна только мелочная месть изменами за измены, в которой я был ей удобен, неболтлив и неопытен? Иногда прорывалось в ней нечто похожее на нежную страстность, пожалуй, даже любовь, но была ли её душа в те неистовые, упоительные мгновения со мной, для меня навсегда осталось загадкой. Она быстро отучала задавать такие вопросы, попросту оставляя их без ответов, таинственно и грустно улыбаясь, укрывала в своём сердце все женские секреты.

Наши отношения совершенно очевидно не могли иметь никакого лучезарного будущего, а потому её невразумительные ответы не очень-то и дразнили моё любопытство. Но сердце моё так и привыкло сознавать, что таинственность и скрытность – неотъемлемая женская часть. Что лезть с вопросами о чувствах нехорошо, бесполезно и неприлично, а всё, что можно и должно мне узнать и без того будет сказано. Что никакая откровенность не гарантирует истинности высказанного вслух, по той простой причине, что распознать достаточно достоверно такие сложные, изменчивые чувства даже в своей душе иногда и невозможно.

С Венецией же всё получалось наоборот. Регулярно обижаясь на моё стойкое безразличие к мелочам её жизни, она будто намекала, что ждёт вопросов, откровенности своей и моей. Но не посягать на её свободу и иметь право требовать того же от неё будто стало моей привычкой, которой я не желал лишаться. И теперь слишком жалел об этом, не прощал себе трусости хотя бы и в последнюю встречу, но всё же узнать что-то важное, вдруг ставшее нужным моему сердцу именно сейчас... бессмысленно, невероятно поздно.

И этой ссорой с Расти я будто бы попытался догнать прошлое, изменить собственному же равнодушию, словно бы доказать кому-то, что способен ревновать и бояться потерять. Только вот сейчас эти эмоции уже никому не были нужны. И что Венеция была пусть всего однажды и совсем ненадолго, но всё же безмерно дорога мне, она так никогда и не узнает. Моя взбалмошная, упрямая спесь отныне нерушимо стояла на страже секретов сердца...

– Вот, возьми это, – Расти подошёл почти неслышно, и я непроизвольно вздрогнул от этого его неожиданно объявившегося голоса за спиной. – Если со мной что случится, я хочу, чтобы они от тебя узнали, а не от какого-нибудь занудного бюрократа.

Он протягивал мне небольшой прямоугольник картона, мелко исписанный цифрами телефонных номеров. Непонимающе я глянул на Расти, от неожиданности этого «презента»

даже забыв на секунду, что всё ещё не готов простить ему ни Венецию, ни признание, ни свои же ошибки.

– Что? Боишься, ящик какой на голову свалится? Могу устроить, только попроси, – зло усмехнулся я, укротив машинальное движение взять этот протянутый символ перемирия.

Но Расти, пожалуй, впервые не соизволил обратить внимание на такую мою неприкрыто злую, настоящую на цинизме насмешку. Впервые он не сдерживался, не мрачно терпел мою грубость, а будто прошёл мимо, вовсе её не заметил, всерьёз отвлечённый своими угрюмыми, назойливыми мыслями.

– Просто возьми. Можешь выбросить, если захочешь... потом... А пока возьми.

Он аккуратно, с какой-то тихой и раздражающей настойчивостью, положил этот листик рядом со мной и теперь стоял над моей совестью как Цербер, ждал или мстительной низости, или снисходительного великодушия, прекрасно сознавая, что сейчас я одинаково способен и на то, и на другое. Что, придумав и преувеличив, навязав своей торопливой обиде множество предположений – целую повесть про измены и ложь, – я не прощал ему своей же фантазии гораздо в большей степени, чем любую реальность. Но его хмурая печаль, сосредоточенное уныние на время заслонили тревогой мою злопамятность, уже сильно поднадоевшую мне же самому, но всё ещё не бросаемую из самолюбивого упрямства, из каких-то романтических представлений о чести, дружбе и предательстве, незримо стерегущих Святой Грааль моей гордыни. В молчаливом, упорядоченном мире Расти что-то случилось. И это было очевидно.

Я не двинулся, стойко ожидая объяснений.

– Нас отправляют... – наконец-то догадался сказать он и мотнул головой куда-то в сторону проходной.

Почему-то считая, что этих двух скромных слов уже вполне достаточно, Расти замолчал твёрдо и надолго. Я начинал злиться, несмотря на всю серьёзность его похоронного вида. В такие моменты его немногословность выводила из себя гораздо успешнее, чем бешенство сорванных нервов.

– Ну и? – пнул я его молчание. – Кого это «нас»? Куда? За подгузниками?

– За пулями! – вдруг резко и зло, будто ударив, вспылал он.

Волнение толкало его в спину, и он заходил из стороны в сторону, успокаивая вздрагивания своего темперамента. Это было странно и страшно – вдруг увидеть страх в том, на кого привык оглядываться, чьим спокойствием научился уговаривать своё малодушие, кто в твоём представлении пугаться и паниковать не имеет права, будто он вовсе не человек. Я привык доверять информации, добытой Расти, его таланту разведчика, и потому сердце моё мгновенно сжала чья-то ледяная лапа. Вот отчего он был мрачен и строг все эти дни, вот почему мои молчаливые обвинения так мало его заботили. Ведь чего стоили капризы обидчивого мальчишки рядом с пугающим мраком собственных ужасов? Громоздкое, давящее на хладнокровие, жуткое слово заслонило будущее, навалилось бесчувственными данными статистики потерь. То, чего я так боялся, что единственное не давало мне жить вольготно в тисках армии – война. И пускай отправлять нас будут не завтра и не через месяц, хоть на всё это потребуется гораздо больше времени, подготовки и формально-бумажной волокиты, но страшно мне стало именно теперь. Спешно и неразборчиво моё сердце примеряло образы красивых и не очень смертей из кино. И хоть я прекрасно понимал, что непрерывная беготня среди взрывов под проливным свинцом, вся эта бесноватая, навязанная фильмами романтически-героическая бравада нам никак не грозит, но в том-то и коварство этой рулетки вооружённых конфликтов, что одной даже шальной, случайной пули вполне может хватить для печального финала.

– Дату пока не знаю. Скоро должны объявить, – уже совершенно спокойно сказал Расти.

– Откуда новости? – я всё ещё хватался за крошечную надежду.

– Слышал разговор...

Он не желал вдаваться в разъяснения своих поисков информации, но то, что она была достаточно верной, чтобы напугать и озадачить не склонного к панике Расти, уже само по себе заражало страхом. Этот приговор – ещё туманный, но весьма безрадостный – невольно увяз в моём сердце, влился в него какой-то тёмной отравой. Глупый, трусливый, взъерошенный бесёнок резво встрепенулся в моей душе, и мысль о дезертирстве бесславно выскочила в сознании – бежать, не оглядываясь и не думая, променять гордость на инстинкт самосохранения, которым так удобно и умело притворяются трусость и малодушие. Потешив этого циничного, изворотливого, стыдного беса секундными колебаниями, я пристрелил его пониманием позора уже одних этих пусть мгновенных, но всё же довольно серьёзных раздумий. Да и сбежать мне было некуда...

Расти, сосредоточенно наблюдая, угрюмо ожидал вердикта моей совести. Протянув руку, я взял педантично исписанный телефонами листок, принимая на себя тревожную и, возможно, непосильную обязанность вестника горя, совсем не желая вникать, какими ухищрениями сумею отыскать самообладание и решимость сообщить любые неутешительные новости его семье. Легкомысленное, но необходимое мне самому, быть может, гораздо больше, чем Расти, великодушие заковало меня в цепи честного слова. И к бессильному страху за свою жизнь, за жизнь Расти добавилась ещё тоскливая и паническая неготовность стать тем, кого первым возненавидят всего за несколько слов, отбирающих надежду и покой. За одно только то, что хватило сил принести страдание в чужой дом. Моя душа будто нарочно терзалась фантазиями, поспешно перебирая ощущения и страхи, забегала вперёд в боязливом, суетливом порыве угадать будущее. Я *уже* стоял на пороге дома Расти, *уже* смотрел в глаза его сестре и матери, безжалостно и неизбежно заволакивал трауром их сердца... Гонцов древности за такое казнили.

Я повертел карточку в пальцах, отмахиваясь от этих безобразных, жутких до дрожи видений, рассеяно глянул на Расти.

– Бери, чтоб ты угомонился, – как можно спокойней сообщил я его настороженной внимательности. – Никто из нас там не зайдёт. Было бы глупо со стороны судьбы вытаскивать нас из тюрьмы, чтобы через год бодро закопать в каких-нибудь жарких песках. Может, у тебя судьба и идиотка, но моя явно нашла бы способ проще и эффективней.

Расти вдруг хмыкнул, смиряя насмешку. Ирония издевательски и бестактно запрыгала в его глазах.

– Лихо ты пугаешься, Тейлор, – как-то абсолютно не к месту сказал он, дразня прищуром мою сдержанность. – Всполошился и сразу же на проповедь свернул, будто с самим Богом пошептался. Он тебе сообщил, что так и до генерала дослужишься? То-то на парадах радости будет от твоих речей.

Подобные розыгрыши были совсем не в характере Расти, но я тут же обозлился, не давая себе времени разобраться, безотчётно и сгоряча уличив его именно в циничном эксперименте над моей психикой. В том, что заигрывая с подлостью, Расти подставил моим сомнениям, обострённому, эгоистичному малодушию преувеличенную опасность, выдумал зачем-то эту жестокость и теперь развлекался моей трусостью.

– Иди к чёрту, Расти! – яростно, не жалея ни его, ни себя, торгуя собственным недавним благородством, я отбросил его листок, демонстративно и нагло попрекая своим волнением, болью, которую уже пусть лишь в воображении, но успел испытать. – Считаешь, это смешно?! Конечно, война – это безумно весело! Жизнь, смерть, своя, чужая – тебе всё шутки!..

Высокомерный и мстительный, я почти с удовольствием чувствовал каждый свой раскалявшийся нерв. Но понимая, что в гневных оскорблениях захожу слишком далеко, что безобразно приближаюсь к какому-то краю, толкаемый грубостью перехожу черту, вернуться из-за которой будет очень непросто, я вдруг резко умолк. Представление о пороге его дома, о лицах его родных, об утрате, которую никакими словами не облегчить и не исправить, обо всей этой моральной казни, всё ещё призрачно лежало на моём сердце. И уже сейчас вопреки любым

ссорам я бы *всё* отдал, только б не пришлось нести в тот дом тьму несчастья. И может, именно этот страх, эта унылая, выцветшая картина бессильного соболезнавания и укротили во мне злобное, стихийное раздражение.

Расти как-то внимательно, почти подозрительно разглядывал меня, будто искал что-то в моём сердце. Что-то, что должно было быть там, но почему-то не находилось.

– Вот что ты за человек, Тейлор? – вдруг совсем равнодушно, несмотря на азартную беспощадность моих слов, обыденно спросил он. – Придумаешь себе целую книгу – библиотеку даже! – из одного лишь слова, иногда просто намёка и зачитываешься этим творчеством до отупения.

Готовый к перепалке, скандалу, даже драке я опешил от его спокойствия, хладнокровного, отстранённого анализа наблюдений за мной, будто на каком-нибудь нудном, научном симпозиуме. Односторонняя ссора вряд ли могла назваться ссорой, и, воспользовавшись замешательством моей души, встрепенувшись от этих психологических игрищ, вдруг проснулось моё любопытство. Внезапная и не часто выставлявшаяся напоказ, а потому кажущаяся случайной наблюдательность Расти всегда была точно в цель, умело и немногословно определяла какой-то стойкий вывод долгих раздумий. Я насторожился, не предполагая, куда именно соизволит развернуться этот странный разговор, толком не похожий ни на ссору, ни на примирение.

– Красочные аллегории – не твой конёк, – стараясь хотя бы выглядеть бесстрастным, с тревожным интересом я выжидал очередной порции неприязни. – Говори прямо, Расти, к чему эти шутки?

– Да к тому, что ты даже со страхом легко справился... ну, скрыть его у тебя точно получилось. И почему ты не можешь так же заткнуть свою фантазию, для меня загадка. Твоё извращённое воображение таскает тебя за шкуру куда хочет. А ты и рад, так что в итоге у тебя все кругом виноватыми остаются, а ты сам вроде бы и ни при чём, – он нервно ходил, распахиваясь, кажется, уже от самого этого движения, несвойственной ему, долго запертой где-то и будто вырвавшейся сейчас болтливости. – Вот кто тебе сказал, что это шутка? Никто! Сам придумал. Придумал, повертел в руках, разозлился и теперь швыряешься моей просьбой, – он резко остановился прямо передо мной, агрессивно глядя в глаза. – Не осточертело вести себя как сволочь?

Я уже попросту не знал, в какую эмоцию сунуться. Мои нервы, метавшиеся и чуткие, спутались в какой-то буйный, непостижимо сложный клубок, истеричный и непредсказуемый. Моё истерзанное самолюбие бестолково обижалось на любое слово, на одно только присутствие Расти, звук его голоса. С какой-то весёлой ненавистью я уже готов был ляпнуть в ответ что-нибудь грубое, какую-нибудь жестокую чушь, но, так и не успев взбеситься, вдруг ухнул в лихорадочную, бдительную трусость, всегда так заботливо и поспешно оберегавшую меня от жизни.

– Значит, не шутка? – осторожно, будто боясь напороться на что-то острое, уточнил я. Расти обречённо вздохнул, маясь от моей тупости.

– Я же сказал с самого начала – отправляют. Какая именно буква в этом простом слове тебе не понятна?

И неожиданно для себя я словно даже обрадовался этому известию. Обрадовался как-то остервенело и зло, или тому, что испугался не зря и не на потеху Расти, или потому, что теперь наше общение можно было завершить и больше не тратить силы на раздражающее выяснение отношений.

– Вот и замечательно. Разобрались, – я протянул ладонь. – Давай сюда свои телефоны и топай. Упакуйся в пару бронжилетов, а то угробишься где-нибудь, а мне и вправду придётся сообщать твоей родне слезливые подробности.

Расти мрачно посмотрел на мою протянутую руку, будто не догадываясь, зачем это я её протянул, словно бы намереваясь отказать мне в чём-то важном именно для меня, к нему же никакого отношения не имею.

– Нет? Ну и ладно, – опережая его сумасбродство, я спрятал руку в карман, как некий ценный товар, с формально-циничной вежливостью отбирая у Расти право распоряжаться моим обязательством.

Но едва я сделал шаг в сторону, едва отпустил свои нервы, как Расти грубо и цепко загрёб своей лапой моё плечо, сердито развернул к себе.

– Хватит, Тейлор! Надоело! Сам-то хоть знаешь, за что именно вызверился на меня?

– А ты будто не знаешь?! – я дёрнулся, смахивая его руку со своего плеча. – «Пытался» ты там что-то или нет, плевать! Отправят в дальние страны – война, может, и рассудит, а пока отцепись от меня.

– Э нет, так не пойдёт, – Расти наверное был готов даже на драку и уж точно не собирался меня отпускать так просто. – Раз уж начали, давай разберёмся. Нафантазировал, что я кружил с Венецией за твоей спиной, что я чего-то там хотел и добивался? А теперь бесишься как припадочный. Сказочник!

Я с издевательской, оскорбительной усмешкой посмотрел ему в глаза.

– Не было же ничего! – словно на допросе, отчаянно доказывая свою правоту, почти требуя беспрекословной веры в свои слова, Расти выкрикнул это признание, будто уже одно то, что он это выкрикнул вот так вот истерично, само по себе могло служить доказательством его искренности. Но только что крикнув эти слова, услышав сам звук своего голоса, он тут же и споткнулся о собственную честность. – Ну, не то чтобы ничего...

– Ага, – травя его язвительностью, моментально подхватив это смущение, я ловил его взгляд, добывая и унижая этим несоответствием его же объяснений.

Он замолчал, сосредоточенно стараясь найти выход из этой словесной путаницы и провести меня к нему. Но похоже, всё было сложнее, чем ему казалось, и он растерянно топтался в этом тупике. Из злобного, упрямого любопытства я бы сейчас и сам не ушёл. Расти добровольно взобрался на этот эшафот. Так пусть же помучается, пусть найдёт хоть какое-нибудь достойное оправдание своей так долго скрываемой подлости.

– Что, Расти? Трудно? То ли было что-то, то ли нет. Теперь сам чёрт не разберёт, да? – тихо, вкрадчиво, как по секрету, я терзал его самообладание, пытаюсь отомстить хоть за часть той муки, которую он так любезно подарил мне своей невнятной откровенностью. – Так может, поедем к Венеции, сядем в кружок, обнимемся-поплачем и дружно вспомним, по какой такой невменяемой пьяни ты случайно на неё свалился?

– Ты тоже тогда невменяемый был, – буркнул Расти, не успевая отбиваться от моего сарказма. – И я вообще-то помочь хотел. Тебе же...

Моя душа мгновенно рухнула в какое-то странное, едкое бешенство. Настолько оглушительное, что я не мог найти слов для ответа, будто налетев с размаху на это такое циничное, спокойное заявление, разбив о него любые аргументы, невозможные и бесполезные в борьбе, где Расти то считал себя виноватым, то нет.

– А, вот оно что! – дар речи всё же вернулся ко мне. – Не ты виноват, не Венеция, а я! Мне бы, дураку, сразу догадаться...

– Стоп! Заткнись, Тейлор! – перебивая меня, Расти даже движение руками сделал, будто останавливал кого-то бегущего. – Я тебе всё расскажу, а после уже будешь орать. Ну не могу я биться с твоей фантазией! Не знаю я, что ты там себе навывдумывал!

Вот в этом он был прав. Фантазия моя была изобретательна, упорна и непобедима. Я и сам не мог с ней сладить, и вряд ли кого другого она изводила так же, как меня.

Может, мои нервы устали злиться, или рассудительность моя была в ссорах не так уж безнадёжна, как мне до этого казалось, но я вдруг ясно осознал, что, пожалуй, иного шанса на при-

мирение уже и не будет. Что развернись я сейчас, уйди гордо и глупо, и оба мы банально привыкнем к тому, что дружба наша невозвратно останется в прошлом. А привыкнув, и пытаться не будем восстанавливать её из руин. Моё малодушие стойко контролировало степень заигрывания с негодованием, не желая отпевать уже единственные отношения, которые я всё ещё ценил, хоть и отказывал себе в этой ценности, отбивался от неё как от чего-то постыдного, какого-то недопустимого оскорбления. Да и судить, не зная всех фактов, даже не собираясь выслушать обвиняемого, всё же было бесчестно.

На время укротив буйство своего характера, посадив на привязь нервную злость, демонстративно маясь от такой обязанности, обречённо и скучающе я приготовился выслушать некую драму мятущейся искренности:

– Ну давай, Расти. Излагай свою поэму.

XVIII

Расти Спенсер

За всё время нашего знакомства я не устал поражаться его непредсказуемости. Думаю, иногда он и сам не способен был предугадать всплески своих эмоций, бессознательно путая всех вокруг, а может, даже самого себя больше других...

Часто, наблюдая за Венецией, удивляясь их отношениям, вздрагивая от её ветрености, зная, насколько легко Тейлор умеет психовать и по гораздо меньшим поводам, я никак не мог понять его спокойную лояльность. Венеция легкомысленно и задорно дразнила его, никогда, правда, не переходя последней черты, но всё же опасно к ней приближаясь. Любой почти мгновенно мог стать объектом флирта – неумолимого и требовательного, – захватывавшего эту девушку как наркотик. И только исключив всякую ревность, я смог объяснить себе эту непринуждённость их отношений. Венеция заманивала кого-то своей игривостью, искушала и восхищала, чтобы, раззадорив и раздражив, веселясь и издеваясь, бросить эти неумные игры в последний момент, остудив небрежной холодностью чей-нибудь молодецкий пыл. А Тейлор лишь тихо и хитро посмеивался, словно забавляясь этими странными развлечениями. И вот именно теперь, совершенно неожиданно, будто накопившись, переполнив его душу, эта неизвестно откуда вынырнувшая, какая-то обострённая ревность вырвалась наружу из-за почти забытого случая, который, – и до сих пор я был в этом уверен, – для Тейлора давно не тайна. Но этот парень будто рождён был с мешком сюрпризов за плечами. Вдруг оказалось, что Венеция так ничего и не рассказала, а сам он если и догадывался, то почему-то только сейчас отважился искать подтверждение своим подозрениям. Я же, нарушив «обет молчания», сильно сгруппировался и теперь томился и мучился от поиска слов, которые смогли бы пояснить ту почти невероятную для меня ситуацию.

Стыдясь того, что случилось, но в то же время словно бы и не считая себя виноватым, словно бы теряя внятные причины извиняться, я всё никак не мог нащупать какую-то опору, аргумент достаточно веский, чтобы растолковать Тейлору это противоречие, легко уживавшееся в моём собственном сознании. Но лишь я пытался «упаковать» его в слова, как даже и моё внутреннее понимание случившегося рушилось, будто я во сне хватался за воздух. Девушка друга, да и просто знакомого всегда была для меня недосыгаема – жёсткое табу, быстро и безапелляционно блокировавшее любые наглые, пошлые инстинкты. И надёжность этого сторожа моей нравственности я не подвергал сомнению. До того дня...

Почему я тогда решил ввязаться в их жизнь со своими принципами, затхлыми, старомодными правилами? Почему посчитал необходимостью стоять на страже отношений, которые в такой нудной услуге, может, и вовсе не нуждались? Какие хмельные бесы втолкнули меня в ту ссору? Напрягая память, я теперь рассматривал ответы в пьяном угаре той вечеринки...

Невменяемые от дыма и алкоголя, от дурной молодой крови мы падали в какой-то весёлый омут, путая неуправляемую распущенность со свободой. Тайные и дикие восторги сердца прорывались через навязанные годами воспитания запреты, рушили эти плотины одну за другой, с готовностью швыряли душу в бесноватый бардак радости. Музыка плескалась в ушах, спиртное – в стаканах, а мы будто торопились навстречу чему-то непознанному, скрываемым и недозволенным удовольствиям. Спешили, будто времени для этого больше никогда не будет, словно этот сомнительный праздник конфискуют у нас уже утром. Странная, непостижимая спешка жить...

На Тейлора томно вешалась какая-то девица, невесть откуда прибывшая к нашей шумно-разбитной компании, и самолюбие Венеции, определённо, не могло оставить такую наглость без внимания. Не рассмотрев, что в том увлекательном хаосе, упоении вольностью Тейлор вряд ли сможет адекватно оценить её старания, Венеция, подхваченная вспылчивым

демоном своей гордыни, тут же обольстительно зацепила какого-то парня, не рассуждающего и восторженного от такого неожиданного флирта. Но сегодня эта излюбленная женская забава рождена была не жадной дозой восхищения, не очаровательной игривостью. И злая месть, выбравшая столь коварное, бесчестное и ненадёжное оружие, могла стать опасной.

Тейлор видел и всё понимал, но не хотел прекратить эту обоюдоострую игру, не желал проиграть Венеции, пусть и в скандале, но предъявить свою уязвимость, зависимость от её красоты и дерзости. Веселясь и развлекаясь, он словно издевался над ней, над собой, подталкивал её к последнему, разрушительному выбору, испытывая её расчётливую заносчивость на прочность. Их глупая принципиальность была дорогой в одну сторону, и сами они это понимали, и сами шли по этой дороге, стараясь зачем-то опередить другого хоть на один шаг. Фатально калеча в азарте обиды свои отношения, они боролись, заведомо зная, что в битве нервов невозможно остаться победителем. И вот, догадываясь, что никто из них не уступит, грубо и беззащитно в самонадеянной уверенности пьяного я всё-таки, сам не зная зачем, ввязался в это их противостояние. Неосторожно и неуклюже принял на себя ответственность судьбы, становясь на линию огня этих раззадоренных и непредсказуемых темпераментов.

– Что ты делаешь, Тейлор? – оглушённый спиртным, медленно и вязко соображая, я подтолкнул его уснувшее благородство. – Иди к ней, не позорься.

И я был готов к его упрямству, уже собирал аргументы и доводы, почему-то маниакально не желая примириться с неловкостью чужих отношений. Но к моему удивлению Тейлор не стал отбиваться от уговоров. Бодро и с каким-то даже бесстыдством, будто предъявляя всем своё поспешное великодушие, своё прощение, и тем самым будто закрепляя за Венецией статус виноватой, он подошёл к ней. Пьяно и блаженно улыбаясь, потянулся к её губам. Спрятанное за таким неуклюжим поиском примирения, быть может, случайное и непреднамеренное оскорбление куда большее, чем объятия с никому не известной девицей, недвусмысленно указывало Венеции её место. Словно не признавали за ней возможность решать хоть что-либо в общих отношениях, лишали элементарного права на незамысловатые ревнивые капризы. И Венеция, и без того нетерпеливо балансирующая на острой грани гнева, решившаяся мстить, – пусть и зная, что пожалеет, – звонко и хлётко, наотмашь осадил эту ретивость. Во мне дёрнулся какой-то нерв, сознание того, что я совершенно не знаю, способен ли Тейлор ударить девушку и следует ли спасать сейчас кого-то от него. Но он лишь счастливо оскалился, с каким-то даже вызовом. Паясничая, недоумённо пожал плечами, заулыбался, будто его одарили восторженной, давно ожидаемой благосклонностью, а не затрещиной. Будто выполнив ровно то, что от него потребовали, ни секунды не сомневаясь, что на большее не готов и не согласен, нарочно и унижительно он больше не обращал на Венецию никакого внимания. Шумно дуря от веселья, будто и не заметил её агрессивной развязности, не видел, как вальяжно и ласково она увела какого-то полудурка за собой. Химическая радость носилась в его крови, непредсказуемо и неожиданно дёргая и без того взбалмошные эмоции.

– Что ещё мне сделать? – с какой-то нервной, ненормальной смешливостью напал он на мои попытки укротить весь этот бедлам. – Ну, Расти, придумай что-нибудь такое же забавное. О, знаю!

Без секундной передышки, как-то судорожно, как в панике пожара, он сорвался с места.

– Этот или этот? Каким, по-твоему, лучше? – просто и задумчиво, словно в ожидании будничного совета спросил он.

Я моментально протрезвел от страха – улыбчивый, как ребёнок с охапкой подарков, Тейлор держал в руках два кухонных ножа, придирчиво их рассматривал, видимо, и вправду прикидывая, какое из этого одомашненного оружия лучше. Выбрал тот, что тоньше и длиннее, проверяя, провёл пальцем вдоль лезвия.

– Если зарежу её, ты от меня отвяжешься? – осведомился он, благодушно улыбаясь и будто всерьёз предлагая мне этот безумный договор.

Адреналиновая игла воткнулась мне в сердце, и толкаемый каким-то суматошным инстинктом, ещё не успев толком сообразить, что делаю, я уже наскочил на Тейлора, выворачивая запястье, выхватил нож. Понимая, что ничего разумного от его одурманенного сознания ожидать не приходится, зато его рехнувшаяся психика вполне способна слететь в какую-нибудь яростную, бездумную истерику, я мрачно следил за ним, за его веселящимся помешательством. Валяясь на полу, трясясь от беззвучного смеха, Тейлор захлёбывался дурной радостью от своих нелепых и жутких шуток. Да и шуткой ли было всё это безумие?

До сих пор я не знал, насколько ужасны могли быть последствия... Действительно ли злость, оскорбление, гнев и наркотики, смешавшись, опьянили, извратили и спустили его ярость с цепи, натравили на Венецию? Никогда он не был жесток, никогда не лез в драку, избегая любого насилия почти до трусости. Но именно тогда я впервые и увидел в нём эту какую-то неукротимую доводами рассудка и морали дикость, впервые испугался таких вот опасных всплесков раздёрганного, взбешённого темперамента, с которыми, похоже, даже он сам не умел или не хотел справиться. И быть может, всегдашняя его трусость вовсе и не была трусостью? Может, только так, подсознательно отстраняясь от любого неосторожного прикосновения к своим нервам, он и мог держать в клетке эту буйную, подчас неуправляемую агрессивную энергию?

Устав веселиться, с каким-то нездоровым блеском в глазах он подошёл ко мне, всё ещё дёргаясь от затаённого смеха, который словно никак не мог остановить в себе, и который, задавленный и смятый, прорывался в нервные, судорожные усмешки.

– А про этот ты забыл, Расти, – почти шёпотом, как-то таинственно сообщил он.

Мгновение чего-то яркого мелькнуло сбоку от моего лица, и лезвие его небольшого карманного ножа легко впилося в мягкое дерево за моей спиной. Рефлекторно я толкнул Тейлора так, что, кувыркнувшись, он отлетел метра на три. И снова не смог подняться от хохота, будто накрывавшего волнами его взбудораженное, одичавшее сознание.

Как-то с опозданием, но неожиданно сильно моё сердце вдруг испугалось, застучало часто и мощно. Все эти затеи с ножами начинали напрягать мой утомлённый спиртным разум. Смешным это точно не было. И словно прочитав мои мысли, Тейлор тут же затих, как будто исчерпал запасы этого ненормального восторга. Со злой серьёзностью, сдерживая какое-то зревшее внутри бешенство, смотрел на меня, и трудно было поверить, что ещё минуту назад от смеха он не мог даже говорить. Но прежде чем я успел оценить эту резвость настроений, прежде чем сказал хоть слово, он уже будто бы и утомился. С тихой печалью старательно рассматривал забытый кем-то полупустой стакан, плавно покачивал его в руке, гонял мелкие волны тёмной с кровавыми отблесками мути, дробно бившейся в прозрачные стены своей тюрьмы. Молча и как-то сонно наблюдал это волнение дурманящей влаги. Но едва я увидел это спокойствие, распознал его, как и оно куда-то испарилось. Словно для Тейлора время шло быстрее, чем для меня, прыгало, внезапно ускоряясь, рвалось и мелькало, как плёнка в сломавшемся проекторе, и чувства его сменяли друг друга так шустро, что я попросту не успевал за ними уследить. Какая-то мгновенная, яркая ярость вдруг вспыхнула в нём – словно ударила в душу, сильно и неожиданно для него самого. В эту секунду я увидел в нём Вегаса, каким тот иногда умел быть. Всего на миг, неосознанно и страшно, какой-то древний, укрощаемый веками дар кровожадного остервенения хищника, не задумывающегося и беспринципного, прорвался в нём, мелькнул в его глазах, как неясная тень преследователя в темноте. Словно даруя свободу чему-то живому, он разжал пальцы и выпустил стакан из рук. Весёлые, сверкающие, суматошные брызги стекла бросились мне под ноги, бойко неся некое послание гнева, так и не воспринятое моим лениво-приглушенным сознанием. И будто бы завершив какую-то миссию, выполнив уговор с собственным нервным дьяволом, Тейлор резко, как на чей-то зов, развернулся и, топчя эти растрёпанные по полу прозрачные останки, быстро, словно сбега с места преступления, вышел за дверь.

«Улица его усмирит», – как-то облегчённо, но в то же время и тревожно, уговаривая самого себя, подумал я.

Расслабленно глотнув одуряющее пойло, насуплено глядя на толкающуюся в каком-то импровизированном танце, уже обессилившую от буйства толпу, я словно пытался сосредоточиться, нащупать какую-то проворную мысль, явную, но будто ускользающую, как далёкие предметы в тумане близорукости.

Венеция!

Я натолкнулся на это имя, как на незамеченный барьер. Что она успела натворить, оберегаемая закрытой дверью? Я не смогу, да и не захочу вечно защищать её от гнева Тейлора.

Какой-то рыцарский порыв, долг, который мой пьяный разум выловил в недрах души, невнятное, но захватывающее желание что-то предотвратить, спасти Венецию от её же глупости – всё это зачем-то погнало меня к той двери. Тупое и бестактное, но нелепо очевидное для невменяемой логики решение стать хранителем чьей-то верности, вмешаться в чужие отношения, лишь чудом не стоившее мне совести...

Сорвав замок, я выволок лениво брыкающееся, не соображающее тело неосторожного избранника Венеции, вышвырнул за порог. Торопливо звякая пряжкой ремня, не попадая и паникуя, он пытался совладать с одеждой, к счастью, в стратегических местах всё ещё бывшей на нём. Как-то сонно отметив про себя забавность этого бестолкового автопилота – одеваться и бежать, – который немедленно включается в каждом, кого за шиворот внезапно отгаскивают от объекта возбуждения, я вернулся к Венеции. Что хотел объяснить я её совести такой грубостью? Теперь уже не вспомнить...

Со спокойным любопытством, изящно и словно нехотя застёгиваясь, она смотрела на меня, чуть наклонив голову, с тёплой поволокой румянца на щеках. И я так и не разгадал, был ли он краской стыда или всего лишь признаком раздражённой мстительностью страсти. Медленные, ленивые движения пальцев, какое-то молчаливое ожидание чего-то, будто обещанного ей когда-то, завораживали мою суровость, всё ещё не сдававшуюся, но словно торопливо скомканную, потускневшую от странного чувства, что Венеция будто бы ждала этого моего вмешательства в её жизнь, будто бы именно для меня и разыграла весь этот спектакль. Визг оскорблённой гордости, крики возмущения и обиды, слёзы стыда или злости – я ожидал чего угодно, только не этой ласковой тихости, хрупкой привлекательности искушения. Её пальцы, не спеша, терзая меня этой неспешностью, застёгивали пуговицу за пуговицей, плавно и небрежно, медленно поднимаясь всё выше, этими нехитрыми движениями скрывая красоту обнажённого тела... Обольстительно и дивно, вопреки всем канонам, возбуждая всё больше именно этим действием одевания. Тонкая нить влечения запутывала мою душу, оплетая и сковывая, затягивая в сеть инстинктов и чувственного безумия. И я не мог прорваться через эти ласковые ловушки...

Нежно и даже как-то печально глядя на меня, Венеция вдруг поднялась, задев одеждой, прошла мимо к бесцеремонно распахнутой двери. С затаившимся отчаянием я ждал её решения. Уйдёт или останется? Что угодно было одинаково жестоко и желанно, одинаково впибалось в сердце томной, мучительной болью. Что-то жаркое и жадное будто навалилось мне на спину. Настырная совесть и пленяющая, непозволительно яркая, требовательная страсть вцепились в мою душу, смешались в каком-то зыбком, безотчётном чувстве... Позорном. Пугающем. Алчном. Я не мог дышать, будто лежал глубоко под водой, и эта тёплая, мягко убивающая толща давила мне на грудь ласковой, восхитительной тяжестью.

Звуки людского шума стеснительно притихли, приглушённые закрывшейся дверью, и нежное, почти неуловимое касание, подкравшееся к моим плечам, мгновенно взбесило демона моего желания. Словно в одну секунду прирученный Венецией он накинулся на меня, неуправляемый и страшный. Вполне сознавая собственную низость, но как-то отвлечённо и равнодушно, словно чью-то чужую и не важную, понимая, что мести лучше Венеция

не могла бы придумать, и смиряясь с этим пониманием просто и сразу, я целовал её губы, даже не пытаясь себя остановить. Словно отчаявшись от поспешной веры в поражение, сдавался, не начав бороться. С каким-то торопливым упорством мои руки истязали её одежду, путались в застёжках, в сознании стыда собственной подлости, суетливой и жалкой. А бесноватое вождение волокло меня на поводке в бездну предательства. Но в тот момент мне было плевать на Тейлора, на дружбу, на любые нравственные законы и мораль. Да весь мир мог катиться к самому чёрту в лапы! Лишь восторженное ощущение жаркой кожи, восхитительная, трепетная отзывчивость страсти занимали моё сердце, губительно и безраздельно властвуя в нём.

Венеция, чутко угадывая движения, податливо и гибко помогала мне в нашем общем падении, словно оспаривала своё право на эту низость. В плену её красоты, на время выбросив на помойку все жизненные приоритеты, оглушённый и очарованный, я безропотно шёл за ней в этот омут. Но что-то вдруг столкнуло меня с этой дороги, ошеломило и остановило. Ещё не зная, что именно, с трудом возвращая себе свой обессиливший, сдавшийся рассудок, я резко, словно испугавшись чего-то, отстранился от Венеции. Словно совсем не она должна была быть здесь со мной. Словно увлекаемый в западню, запутавшийся и ослабевший, но всё же разгадавший опасность в последний момент. Брезгливое лицемерие, холодная, едкая, невероятная по силе злость, в которой не было места страсти и нежности – я будто напоролся на этот капкан, неосторожно заглянув Венеции в глаза. Мечь. Грубая и талантливая, сознательно и выгодно превращавшая меня в оружие, и так ловко скрытая прельстительной мягкостью.

Всё ещё не в силах поверить в такое обворожительное коварство, в безжалостную, расчётливую игру с совестью, – беспринципную и бесчестную, – я всматривался в это красивое, трепетно и любя созданное природой лицо и почему-то отданное на потеху какой-то мерзости. Слишком рано спугнув моё слепое вожеление своим злобным демоном, понимая, что любая новая попытка теперь будет бесполезной и уже очевидно гнусной, Венеция издевательски вздёрнула брови, неприкрытой насмешкой добывая моё удивлённое, покалеченное самолюбие. Словно бравируя своей подлой изобретательностью, не отрицая и гордясь столь богатым, запасливым талантом цинизма, она неторопливо оделась, плавно повела плечами, поправляя несуществующую небрежность ткани. И этим манящим движением, мучительно раня своим улыбочивым сарказмом, словно напомнила мне про ту лёгкость, с которой я только что намерен был шагнуть в подготовленную ею бездну. А я стоял перед ней, поражённый этой переменой, тяжело соображая и всё ещё не веря, что отзывчивое, прекрасное тело могло так безропотно подчиняться злему разуму, выверенной, просчитанной, коварной мести, так мастерски играть в любовь... Что красота может быть отдана на поругание так просто, за грош, за мгновение торжества и превосходства. Потрясающий дар природы, призванный спасать, но почему-то стремящийся губить и властвовать. Воистину, изящнейшее оружие дьявола...

Какое-то пьяное, угнетающее бессилие навалилось на меня. В странном, почти болезненном бреде я смотрел на закрывшуюся дверь, на покачивание полотенца, случайно потревоженного и словно робко сберегавшего ускользнувшее движение Венеции. Что-то тихо угасало во мне, оседало на дно души. И было в этом нечто грустное, похожее на крошечное умирание. Обострённая спиртным сентиментальность трагично расставалась с обрывками мелких иллюзий. С верой, что любовь подделать невозможно, что хрупкой страстью нельзя расшвыриваться. Что дарить эти искры сердца нужно лишь избранным...

Сунув голову под холодную воду, чувствовал, как струйки стекают по раскалённому затылку, крадутся за шиворот, щекотной дрожью сползая вдоль позвоночника. Я старался собрать и упорядочить мысли и ощущения, предъявить их своей совести. Стыдная и глупая ситуация. Моя захмелевшая, поздно объявившаяся честность теперь дотошно складывала детали этого предательства в признание, в дурную, нетерпеливую откровенность. Сети собственного благородства, какая-то неудержимая страсть вскрывать нечто, утаиваемое завесами

притворства, захватили меня в тот день, и суматошно, как неопытный, заблудившийся проводник, торопливо водила по опасным дебрям своих и чужих чувств.

Тейлор должен узнать. И узнает. Моя порывистая принципиальность не оставляла иного решения, не позволяла задуматься о гуманности этой искренности, быть может, губительной для всех нас. Настойчиво выискивая слова, терявшиеся в пьяном, тусклом тумане, я планомерно затачивал это лезвие исповеди, смутно и неопределённо, но всё же уже тогда отдавая себе отчёт, что не всякая правда стоит той жестокости, которую таит в себе. Что есть нечто такое, что не следует вытаскивать на свет, как некий сложный яд, безобидный в скрытной тьме и разлагающийся, травящий при свете дня. Но агрессивное упрямство шло за мной по пятам, не давало свернуть с этого пути. Я готовил этот совестливый донос на себя, на Венецию с каким-то даже воодушевлением, будто и в самом деле было непосильно хранить в одиночку этот тревожный секрет. Как преступник, которому словно хочется похвастать своим преступлением, утолить какое-то необъяснимое томление души, казалось бы, безвредное, но изматывающее до сумасшествия, как зуд, застрявший где-то под кожей.

С суровой решимостью я ждал Тейлора, стараясь не заснуть, убаюканный усталостью и выпитым. Венеция сидела на подоконнике, провожая глазами редкие капли, стекавшие по стеклу. Спокойная и тихая, словно ничего и не случилось, словно вся та сценка в ванной была сочинением моей больной фантазии, сном пьяного, о котором она даже не подозревала. И на мгновение мне стало как-то неловко, будто действительно всё это было лишь плодом моего изошрённого воображения. Стойкость её меня почти восхищала. Она не рыдала и не оправдывалась, не паниковала и не сбежала, терпеливо удерживая груз ответственности, храбро принимая свою долю вины. Мы, словно бойцы после какого-то поединка, измученные противостоянием игроки, сделавшие уже все ставки и ходы, пришли к спорной ничьей. И сейчас сонно и утомительно ожидали вердикта судейской коллегии, выделяясь сосредоточенностью заговорщиков в никак не желавшем успокаиваться веселье, всё ещё оживавшем в усталых всплесках шумной радости. И приди Тейлор тогда, объявись на пороге именно в тот момент, я, не задумываясь и не сомневаясь, увлечённый этой вдохновенной искренностью, тут же всё ему и рассказал бы. Но время шло, медленно и основательно разворовывало мою уверенность, тайно, незаметно, крохотными кусочками отбирало её у меня.

Чем дольше я смотрел на Венецию, чем больше размышлял о том, что скажу, о самой этой странной идее зачем-то ворваться к уединившейся девушке, взять на себя самовольное, никем не прошеное и никому не нужное право решать, что верно, а что нет, и тем яснее понимал, что саму необратимую абсурдность этого моего поступка, тупость активного стремления упорядочить чью-то жизнь – уже одно это я никак не способен был пояснить. Всё это словно выскакивало из слов, словно никак не хотело втиснуться в рамки придуманной причины, расплывшейся и уже совсем неясной. Казавшаяся разборчивой и правильной, подготовленная под диктовку свежести впечатлений речь теперь разваливалась, лишившись основы, элементарной логики, перемешиваясь с эмоциями, теряла всяческие очертания. Так в стихотворении стоит забыть всего одно слово, единственную одинокую рифму, как тут же и невозможным становится дальнейший рассказ. Хоть и смысл, и события знакомы и известны, хоть многие детали помнятся очень даже хорошо, но без того утерянного памятью слова пересказать все эти очевидные для разума детали уже и не получается. Как заика, споткнувшийся на сложном слого, на раздражающее, необъяснимое мгновение словно бы вовсе разучившийся говорить, я вдруг понял, что никак не смогу выразить то запутанное чувство, какую-то почти одержимость, втолкнувшую меня в их спор на двоих. Ошалев от раздумий, медленно трезвея, сознавая свою глупость всё отчётливей, я мрачнел от этого морального ребуса. Оттого, что мой пьяный мозг родил, пожалуй, самое нелепое, неправильное и нелогичное решение, которое можно было представить, вывернул его наизнанку, рассмотрел и убедился, что это дурное решение исключительно правильно и разумно, и что вот только так и можно всё исправить.

Зачем-зачем-зачем я вообще влез в их жизнь?!

В каком-то тоскливом поиске ответа я подошёл к Венеции. Ведь к кому ещё я мог бы пойти, как не к пособнику в общем преступлении? Она резко обернулась, будто я испугал её, нахмурилась на эту очередную мою дерзость. И я вдруг с удивлением увидел какую-то отчаянную, задыхающуюся от гордости печаль, томление отравленной ошибкой души. Влажная кромка у нижнего века, едва заметное подрагивание губ... Мои свидетельские показания могли бы стать ей приговором на грядущем суде. Пожалел ли я её, рассмотрев ту трогательную привязанность к Тейлору, которую не замечал раньше, или усвоил наконец-то, что в игре на двоих нет места для третьего, что все правила и законы отношений не могут быть поняты и исправлены кем-то извне? Не знаю... Но я больше был не в силах вмешиваться, опрометчиво и беззастенчиво перекраивать чьи-то жизни по собственному шаблону.

– Наверное, будет лучше, если ты сама ему всё расскажешь, – как-то неуверенно, но чувствуя, что это невероятно благородно, сказал я.

Скрывал ли я этим великодушием безнадёжность поиска слов и объяснений, усталость, изводившую разум, который, как бестолковый двоечник, юлил и изворачивался, камуфлируя своё незнание ответа? Или и впрямь добродушно вручал Венеции надежду на помилование?... В любом случае весь этот скомканный ворох случившегося я отдал в её руки. И теперь это откровение, звучавшее грубо и неуклюже в моём сознании, обрело даже изящество, светлый ореол романтизма раскаяния. Приукрашенное ласковой женственностью становилось не таким уж и ужасным. Дана была женским душам эта обворожительная власть, а потому любая, пусть и самая жестокая, неотёсанная весть, замкнутая в вежливую мягкость, переносилась легче.

– Конечно, – тихо согласилась Венеция и, будто забирая у меня эту громоздкую ответственность, осторожно и даже как-то опасливо притронулась к моей руке, обрушив мою насупленную молчаливость в тёплое умиление этой её нежностью. – Извини, что так получилось...

Отбившись от этого доноса тогда, трусливо оттянув момент признания, путаясь и запинаясь, торопливо и многословно я предъявлял всё то, что помнил. По частицам возрождая тот день, старательно вёл по нему Тейлора.

...Он заявился тогда уже под утро, весь какой-то замученный, в изодранной одежде, в ссадинах и царапинах.

– Господи, Тейлор, какое стадо слонов по тебе пробежалось?! – от его растерзанного вида я даже проснулся. – Подрался?

Он усмехнулся, оценивающе рассматривая то, что когда-то называлось его рубашкой:

– Ну, можно и так сказать.

Посмеиваясь своей тихой радости, он был абсолютно спокоен, почти счастлив, словно разбросал в какой-то драке свои психованные затеи и больше про них не вспоминал.

– Говорят, тут вечеринка, – в шутовском недоумении он оглядывался по сторонам. – А я всё пропустил...

Весело растолкав пару тел, уснувших по углам, с трудом выпроводив их за порог, с бесильным обалдением он рассматривал хаос, оставленный людским, вышедшим из повинования буйством. Подошёл к томной от бессонницы Венеции. Заглядывая ей в глаза, безмолвно договаривался о чём-то, существовавшем только для них двоих.

– Что не спишь? Замучили мы тебя сегодня? – он нежно приобнял её за плечи.

И впервые эта посторонняя для меня нежность кого-то к кому-то задела моё сердце. Мне вдруг стало как-то неловко и как будто немного обидно. Едва заметно, но больно от этого невинного проявления чувств. Что-то даже похожее на мелкую ревность царапнуло моё самолюбие. И ещё это «мы», прозвучавшее для меня омерзительно и едко...

Сбегая от такой нервной восприимчивости, я поднялся. Настроение Тейлора совершенно явно не собиралось хватать ножи и кого-нибудь калечить, а потому моё добровольное обяза-

тельство быть телохранителем Венеции больше не требовалось. Лишь на секунду я заглянул ей в глаза, проверяя и подтверждая наш тихий договор, и она вежливым кивком прощания успокоила мою совесть, отпустила на волю.

Но переданная ей тогда, навязанная мною обязанность честности так и осталась в её руках, так и затерялась где-то во времени, в её интригующем умении совращать и управлять. Хорошо изучив Тейлора, его настроения и реакции, она ловко разыграла выданные ей козыри. Выдумав предлог, поссорилась, уехала на пару дней, а Тейлор ходил мрачный и отстранённый, рычал на всех вокруг. И, воображая, что знаю, чем рождена его злость, я вполне объяснимо избегал любых расспросов, не рискуя зацепить его нервы сильнее, чем это уже у меня получилось. Но вскоре Венеция вернулась, улыбчивая и игривая, как и всегда. Повеселевший Тейлор снова подшучивал надо мной, мы снова ругались по пустякам, мирились и снова ссорились, привычно называя эти битвы темпераментов дружбой. А Венеция радостно и деликатно подавала мне руку, гостеприимно улыбалась, почти ежедневно выдавая эти ласковые гарантии прощения и стабильности, внимательно выслеживая мою совесть, успокоившуюся и уверовавшую в то, что вся та неловкость прощена, забыта и сдана в архив. Ловкая, изящная, просчитанная и спасительная ложь, копившая пыль на моих воспоминаниях всё это время. И вот теперь, так некстати, уже никому не нужная истина выползла на свет.

Сообразительная и хитрая Венеция умело улизнула от этого судного часа, сознательно или нет бросила меня одного на этой скамье подсудимых. Педантично вспоминая детали, старательно и максимально честно, будто пытаюсь этой дотошностью выкупить лишнее доверие, заслонить ею долгое, упорное молчание, я добросовестно выдавал своё чистосердечное признание. Увязая в подробностях, утаил лишь то, что не будь мои гормоны так качественно заторможены алкоголем, и, возможно, действуй Венеция чуть решительней, то никакое понимание предательства, никакое чувство вины не отвлекли бы меня от того шага в пропасть. Подпирая неустойчивость своей чести этой маленькой, робкой скрытностью, не желая углублять яму собственной подлости сверх необходимого, я аккуратно обошёл этот деликатный аспект, тем более что для общей красочности картины он был почти бесполезен.

Тейлор терпеливо выслушивал мою сбивчивую, неопытную говорливость, не перебивал и даже как будто совсем не нервничал. За всё время он так и не сказал ни слова, был тих и равнодушен, словно замыслил удавить меня моей же многословностью. Почти задохнувшись от нагрывшей откровенности, в каком-то усталом изнеможении дотащившись до финала этой лихой истории, я наконец-то облегчённо замолчал. Тейлор терзал в пальцах какую-то подобранную, прибывшую под ноги монетку, крутил и рассматривал, будто ничего интересней доселе в мире не видел и не находил. И молчал так, словно и не заметил, что я тоже уже молчу, словно не слушал вовсе, что я говорил, в задумчивой вежливости просто сидя рядом. Я уже собирался обидчиво постучаться в его отвлечённый разум, как он вдруг усмехнулся.

– Так я на тебя с ножом кидался? – озадачивая неожиданным спокойствием, спросил он.

Не понимая, почему вместо всех рассказанных мною кошмаров для самолюбия заинтересовала его лишь эта странная, агрессивная ерунда, я машинально кивнул. Чуть не упав, будто спуская с поводка свою истомившуюся смешливость, он расхохотался, громко и искренне, пугая меня этой яркой вспышкой веселья даже больше, чем ожидаемым скандалом.

– Всегда знал, что моя шустрость себя проявит, – срываясь и заикаясь от смеха, он едва мог говорить. – Вот видишь, Расти, ты тогда ещё ничего не сделал, а я уже на тебя с ножами бросался. Это ли не чудо быстроты реакции, явленное миру?

Ошарашенный его весёлостью, я придиричливо выискивал в ней что-то нервное, истеричное, что внезапно могло вывихнуть его нрав в бешенство или язвительность. Но он ухахатывался, как ребёнок на празднике, почему-то безмерно радуясь этому найденному фрагменту своего прошлого.

Наконец, отсмеявшись, он выдохнул, восстанавливая дыхание:

– Телефоны, – с весёлой требовательностью раскрыл ладонь. – Смотри, Расти, вот теперь тебе точно нельзя нигде убиться, – он помахал перед моим носом, шутливо угрожая этим вновь выданным кусочком картона. – А то на том свете устрою тебе оптимистичные посиделки, никаким ножом не отмашешься.

Формально завершая допрос моей совести, он поднялся, и моя заученная суровость, какая-то потребность обороняться словно бы и растерялась без всякой пользы. И будто почувствовав моё недоумение, уже почти у двери Тейлор обернулся, прищурился, словно задумав какую-то шалость. И лицо его стало совсем мальчишеским – открытым и задорным, – словно ждал он от жизни одних только забав, весёлых каверз и заранее радовался им, как обещанным аттракционам.

– А Венеция и правда молодец, – с хитрой усмешкой то ли сообщил, то ли спросил он.

И немного помолчав, совсем уж загадочно добавил:

– Она почти как Вегас... почти...

XIX

Оставив Расти упорядочивать его растрёпанные мысли, успокоиться и выкинуть за ненадобностью свирепую мрачность загнанного в угол, я ушёл, сберегая в душе ещё не вполне осознанную, но уже принятую сердцем разгадку. То, отчего я так бесился последние дни, что раздёргало мои чувства непониманием и обидой, все эти пёстрые, сложные части вдруг совершенно неожиданно стали собираться в нечто осязаемое. И даже поразительно сейчас было, как раньше я этого не видел, не мог сложить.

Как же мог я забыть про эту коварную манеру Венеции затаиться и ждать? Готовить усердно и неспешно свою месть, держать её при себе, воспитывать и лелеять, чтобы в самый неожиданный момент вручить обидчику, который уже, быть может, и забыл вовсе, чем и когда обидел, какой подлостью заслужил этот дар злопамятности. Но в мире Венеции давность оскорбления никогда не служила оправданием, никогда не отменяла казни. Была в этом какая-то странная душевная скарелность, какое-то трепетное отношение к своим стараниям и вдохновению в подготовке любой, пусть и самой мелкой расплаты – ведь нельзя же вдруг взять и выбросить такой ценный, мастерски отшлифованный и чаще всего эксклюзивный продукт. Стоило ли удивляться, что даже в армии я не увернулся от её обидчивой памяти? И очень может быть, что именно тот день и стал основой стройной, прохладной, ироничной мести. Наивный Расти полагал, что остановила ту измену нелепая случайность, оплошность чувств. Но я готов был поспорить на что угодно – совсем не случайно заглянул он так «не вовремя» в её глаза, совсем не из вежливости познакомила она его со своей злостью. Моя ласковая, нежная, весёлая и понимающая Венеция могла иногда превращаться в изумительную стерву. Тем более опасную, что отыскать в ней нарочно ту злую умницу было почти невозможно. И то, что внимательный Расти, великолепно умеющий порой раскусить даже Вегаса, нудный и опытный в своей внимательности, вдруг проглядел такой очевидный подвох, сильно меня развеселило. Венеция завлекла Расти именно туда, куда рассчитывала, запутала и бросила там, пристроив на его плечах тщательно отмерянную тяжесть вины. Артистично и кротко, с трогательной печалью в глазах дождалась, пока бедняга сообщник, обессиленный в попытках выбраться из этих искусных сетей, уставший возиться с охапкой вины и собственной честностью, сам принесёт право распоряжаться его принципиальностью, отдаст ей в руки, в единоличное пользование все эти решения.

Я почти гордился Венецией, её искусством умело подделывать и заменять едва ли не любые чувства, «ненароком» и вовремя подставлять их чужому тщеславию, именно этой «случайностью», будто бы неумением скрыть их и подтверждая их подлинность. Бедный Расти... Иногда его сердце было невероятно, потрясающе уязвимо. И хоть тихая грусть Венеции, так тронувшая его тогда, возможно и даже скорее всего, была вполне искренней, только вот рождена она была совершенно иным, ни к Расти, ни к отчаянию провинившегося отношения никакого не имевшем. Но заметив лишь блик чувства, лишь тоскливый намёк на страдание, затаённо-романтичный Расти тут же додумал и облагородил этот едва выглянувший на свет признак раскаяния. Как и кто угодно, он смотрел на Венецию, на её эмоции через призму своей души, перекрашивая в собственные цвета любое замеченное чувство. А женская красота и вовсе сбивала его с толку, словно бы совсем другие правила существовали в его мире для очаровательных дам.

Кто же именно из нас двоих должен был стать тем ревнивым рыцарем и уберечь хрупкое девичье сердце от монстра измены? Ждала ли она от меня этого залога влюблённости, бесспорной демонстрации, что мне не наплевать на то, с кем она и зачем? Или же только Расти и был в её игре той глупой пешкой, послушно подарившей такой восхитительный шанс – при расставании лишит меня ещё и лучшего друга? И что было бы, не согласить мы примерить

выданные маски? Правда ли Венеция так лихо просчитала меня и его, заманила и столкнула, вооружив своей хитростью? Или же это была одна из тех причудливых и неуправляемых жизненных историй, когда всё вдруг сходится одно к одному, ловко расставляет в судьбе фрагменты обстоятельств и событий – безошибочно и в срок, – точно всё это кем-то спланировано и пущено в ход? Может, и не было в помине никакой злой авантюры, подбиравшей малейшие обиды и копившей их в затхлых тайниках прошлого? Может, было одно только непостижимое сплетение нервов, развлечение каких-то сил, нам не понятных и веселящихся с нашими судьбами? Может, и месть, и злость придиричивой памяти, в которых я поспешил обвинить Венецию, на самом деле – одна лишь моя фантазия, никого не щадящая и никому не подчиняющаяся?

Возможно...

Но в силу особенностей своей природы я прежде всего остального рассмотрел именно месть, некий заговор, из всей палитры цветов первыми выбирая те, что потемнее, параноидально высматривая в любом чувстве – в чём угодно – таинственные и устрашающие оттенки чёрного. Почему-то я не хотел или боялся полагаться на искренность, рисковать, безрассудно доверяясь такой нестойкой гарантии. И что Венеция если и не рассчитала сразу, то уж в высшей степени умело распорядилась тем, что судьба предоставила в её пользование, я был уверен. Только вот почему она ждала так долго?

Каждый раз, обижая её нечаянно или умышленно, неуклюжей шуткой или банальной неосторожностью, я копил этот запас мстительности, чтобы однажды всё-таки услышать: «Мы никогда не подходили друг другу, оба это знали. И наверное, нам не следовало даже встречаться. Всё это случайность...»

Как же, случайность... Глупость, затянувшаяся на два года? Ох уж этот её гонор, не отпускающий душу на произвол сердца, словно ледяной стеной отгораживающий всё то тёплое и незащищённое, чего так много было в Венеции, но что она будто стеснялась предьявлять миру...

Или снова я додумывал за неё, искал то, чего не было вовсе? Суевившееся самомнение рыскало между строк, выискивало в интонациях пленённые гордыней чувства...

Нет, что-то всё же было между нами, что-то наивное и чуткое, что держало нас вместе. Расчёт? Привязанность? Сомнения? Любовь? Но почему-то именно теперь я вычеркнул любовь из всех возможных причин. Моему сердцу так стало значительно проще. Слишком многие вопросы всё ещё ждали ответов, и я не хотел выпускать к ним ещё и неопределённость, загадочность такого призрачного понятия. Я попросту устал бродить по лабиринту своей души, неприкаянно скитаться по собственным эмоциям.

Венеция всё же бросила мне свою ловкую месть. Но бросила уже в спину, почему-то упустив момент, когда боль от её слов стала бы невыносимой, растерзала бы мне сердце на самом деле, а не только во многом воображаемым оскорблением. И если бы не Расти, так неаккуратно рассыпавший шипы давней обиды у меня на пути, то, быть может, я и вовсе бы не пострадал. Этой исповеди испуганного будущим сердца, откровенности, так внезапно нахлынувшей на Расти, никто не мог вычислить...

Какой-то дьявол потешился, свёл нас троих вместе, так или иначе ранил каждого из нас. Вернул меня зачем-то в тот день. Первое наше с ним близкое знакомство...

Я помнил лишь обрывки того дня, какие-то смутные и трепетные клочки, сохранённые памятью... Маленький праздник моего окончательного освобождения из-под гнёта бдительности казённого надзора. День, когда у меня наконец-то появилось то, что отныне я мог по праву называть домом – маленькая квартирочка в тревожном, не самом безопасном и чистом переулке, но моя и только моя. Первое место в моей жизни, где существовали только мои правила, без примесей и довесков, куда я мог приходить в любое время дня и ночи без необходимости

оправдываться и хитрить. Только я и Венеция. Всем остальным вход исключительно по приглашениям. Это было время какого-то бурного, абсолютно неуправляемого восторга. Наконец-то я жил как хотел. И та гулянка была чем-то вроде новоселья, шумного праздника моей самостоятельности. Но как обычно и бывает с сорвавшимися с цепи воспитательного внимания – будь то родительского или любого другого, – опьянение свободой быстро затмилось опьянением натуральным. Спиртное ударило в голову, а музыка, гвалт, шальная радость воли добились мой рассудок. Какой-то неумный молодецкий бунт захватил меня и понёс, как мифическая буря, насланная жестокими богами в наказание за человеческую дерзость.

...Помнил, как Венеция держала мою руку, не давала вырвать ладонь, гневно смотрела на меня узкими и тёмными от злости глазами. Я не мог сейчас отыскать в памяти именно те слова, что услышал от неё тогда, но точно знал, что спасала она меня от того, чего сама боялась панически, нервно, почти до истерики. Того, что едва не сгубило её мать, едва не покалечило её собственную жизнь, вбросив в мой беспощадный, непримиримый, завистливый приютский мир, натолкнуло её судьбу на меня. Наркотики в любом виде пугали Венецию как-то неожиданно – стойко и болезненно, – превратившись в какую-то бесконтрольную боязнь, пожалуй, даже фобию. Давние кошмары её детства... И, хватая меня за руки, словно удерживая от шага в пропасть, видела которую лишь она одна, как поводырь упрямого, самоуверенного слепца, она пыталась увести меня от того обрыва. Но я больше никому не желал подчиняться... Алкоголь иногда делает из человека совершеннейшего дурака, так что даже абсолютная глупость не смущает, а принимается легко и доверчиво. И, добровольно заразившись этой искусственной дуростью, я не рассмотрел в отчаянной, властной злости Венеции мольбу почти слёзную, такую, которой никогда до того в ней не замечал.

Не знаю точно, перепутал ли я эти просьбы с попыткой управиться с моим нравом или попросту проигнорировал такое очевидное отчаяние, только та крошечная таблетка всё же растворилась в моём сознании, понеслась с кровью по всему телу. Мне стало приятно и спокойно со всеми этими пьяными, ослобившимися от волшебной химии людьми. Тёплое, весёлое чувство укутало меня в какие-то мягкие, нежные прикосновения мира. Я будто растворялся во всём этом хаосе из предметов, стен, людей, звуков и ощущений, впитывал его, сливался с ним во что-то единое, никогда доселе не существовавшее. Всё стало как будто ярче, цветней, чем обычно. И я с какой-то восхищённой готовностью воспринимал эту неожиданную яркость словно отмытого от старой пыли мира. Что-то неведомое и чудесное обняло меня, по-хозяйски распоряжаясь, закинуло все мои проблемы, тревоги и переживания куда-то очень далеко. Мне хотелось прыгать и кричать от радости, смешивать свой восторг с грохотом музыки, буйством людского гвалта, упиться им до обморока. И эта истерия, эта страшная смешливость растрепала мою душу на сверкающие, забавные клочки.

Какая-то девушка – боже, какой же красивой она мне показалась! – подседа к нашей угоревшей от счастья компании, заглядывала мне в глаза, целовала долго и восхитительно, словно стремилась отпить от моего блаженства хоть несколько глотков. Тогда мне подумалось, что большего наслаждения в мире не существует. Ведь ничего прекрасней я просто не мог представить...

Не знаю, может, и вправду я не понимал тогда, что оскорбляю Венецию, дополняя её обиду ещё и этим гнусным унижением. Незаслуженно, непозволительно, грубо. Но сейчас та разгульная мерзость моей души, – понимаемая или нет, – была мне одинаково противна. Вся муть, годами оседавшая где-то, словно всколыхнулась, отравила какой-то гадостью. А я всё равно пил этот ядовитый настой, как жаждущий в пустыне, счастливо и захлёбываясь, не замечая тошнотворного вкуса. И быть может, то, что я всё же осознавал что делаю, всю эту глупость и безобразность, было ещё отвратительней временного слабоумия, алчущего только удовольствий.

Расти осторожно выловил меня из мимолётного любовного опьянения, встряхнул мой разум упрёками – бесцеремонно, упрямо, как умел только он. Но слишком плохо он знал Венецию, если считал, что неуклюжее, пьяное извинение, бормотание ничего не стоящих слов способно укротить её раскалённую злость, рождённую подлым, циничным действием, заведомым оскорблением, доказательством которого и был я сам. Такие номера с Венецией никогда не удавались. И с весёлой развязностью, больше для того, чтобы внушить самому себе свою правоту, покрасоваться ею перед Расти, заткнуть его занудные принципы, я пошёл к Венеции... Очень неясно я помнил ту оплеуху – что-то яркое, звенящее в ушах, на миг взбудоражившее в сердце обиду, странную и обострённую, почти до слёз, по силе чувства никак не соответствовавшую простому и миллион раз заслуженному шлепку по лицу. Но этот миг слабости едва успел мелькнуть, а маятник моего настроения уже нёсся в противоположную сторону, снова топил меня в пленительном, искрящемся, совершенно ненормальном счастье.

...Напомнив сейчас себе эту пощёчину, я снова невольно гордился, что даже в том практически неменяемом, действительно близком к безумию состоянии я всё же не позволил себе и мысли ударить в ответ, пусть лишь словом. Я просто оставил Венецию наедине с её гневом, своим дурным смехом добавив ещё пару мелких причин упорствовать в мести.

Заполняя всего себя судорожным поиском ощущений, давясь ими, как свихнувшийся обжора, требуя всё новых и новых порций, я словно никак не мог остановиться в веселье, добровольно отказаться от потрясающей, никогда ранее не испытанной отзывчивости души. Любое простейшее действие, предмет, даже незамысловатый, случайный блик света рождали в ней удивительные переживания, трепет от чего-то возвышенного, вселенски-сложного и вместе с тем предельно ясного. Казалось, не осталось в мире ничего невозможного, непознанного, ничего, что нельзя было бы отыскать, пощупать и бросить забавляться своим эмоциям, как долгожданную игрушку. Восхищение и радость, восторг и печаль, спесь и нежность – неимоверное количество чувств словно существовали одновременно, не смешиваясь и не мешая друг другу. Просто толпились в моей душе, и она вольна была в доли секунды испробовать каждое из них.

Несмотря на то, что тот час моей жизни вспоминался с трудом, как через мутную завесу, которую никакие усилия памяти не могли разорвать, я хорошо запомнил ощущение именно этого почти полёта, какой-то духовной невесомости. Именно тогда я и вёл себя как буйно помешанный. Влекомый странным любопытством, объяснить которое я не мог ни сейчас, ни тогда, я и заигрался со своим диким экспериментом с агрессией и страхом. Я не помнил ножей, но точно помнил, что захотелось мне кого-нибудь сильно напугать – прыгнуть с крыши, выстрелить в воздух в толпе и посмотреть, что будет. А Расти просто попался этой моей ужающей, идиотской затее. Из-за этого восторженного безумства он теперь и впрямь считал, что я мог бы зарезать кого-нибудь, убить просто так, за глупую пощёчину. Только вот ирония в том и состояла, что пока я развлекался наедине с собственными бесами, пока Расти не влез в моё буйство со своими кулаками, я и не думал кидаться на кого-то. Но ударив меня, он будто пробудил нечто, затоптанное весёлыми плясками, какую-то неподдающуюся описанию ярость, настолько сильную, что я даже замер, ощутив её внутри. Пинать меня, видно, входило у Расти в привычку, и какой-то демон безумия, стороживший мою душу, назойливо нащёптывал мне этот глупый вывод. В тот момент странная пустота, похожая на абсолютное спокойствие, воцарилась во мне. Тишина ощущений почти торжественная, которую рождает преддверие чего-то жуткого, какой-то неизбежной катастрофы. На очень короткое время все чувства затаились где-то, будто попрятались по углам, чутко выжидая, как мелкие зверьки перед надвигающимся чудовищем. Эта тишина показалась мне тогда чем-то оглушительно страшным, грозящим сорваться и расколоться. Словно откатилась огромная волна, уволокла за собой всё весёлое и язвительное, нервное и отчаянное бешенство моего нрава. Собирала в единое целое гнев и ярость, злость и обиду, чтобы обрушить эту сплочённую, непобедимую

силу, разбиться в неуправляемых и непредсказуемых эмоциях. Я чувствовал это приближение, как ветерок – ещё слабый и осторожный, но идущий вперёд бури, словно предостерегающий, пугающий гонец стихии. И я унёс в себе этот зарождающийся припадок жестокости, это вздрагивающее скопление ненависти, чтобы вытряхнуть его на улице, безопасно расшвырять в движениях или мелкой драке.

Но всё это оказалось обманом, наркотическим миражом легковёрной души – и ярость, и веселье, счастье и восторг... Все те чувства, которыми я так увлёкся, рассматривал внимательно и трепетно, вся яркость и необычность – всё это было моим лишь на секунды. Перебрав едва ли не все эмоции, когда-либо существовавшие и испытанные, как капризный ребёнок, изломав и бросив их все, я погрузился в какой-то странный, жаркий туман, сон наяву. Наверное, я всё время шёл куда-то, потому что помнилось ощущение усталости, наваливающих, сдвигающихся, преследующих меня стен. Какие-то сложные, дробные, как в калейдоскопе, картинки из лиц и звуков, разваливающиеся и собирающиеся в новые, незнакомые, искажённые больным сознанием образы...

Как попал в тот дом, я так и не вспомнил. Веселье там уже дошло до той стадии, когда не может удержаться внутри, когда выплёскивается за порог, на улицу, раздавая себя всем вокруг, приманивая ненасытных искателей поддельной радости. И я просто пошёл на этот зов...

Музыка лопалась в ушах какими-то дикими, хрипящими аккордами. Люди толпились и толкались, кричали и танцевали. Все говорили одновременно, но никто никого не слышал и не слушал. Да никто и не хотел быть услышанным. Это было какое-то упоение пребыванием в толпе, наслаждение шумом и гвалтом, безнаказанностью, которую все мы получили лишь на время и будто спешили напиться ею. И напивались. Торопливо и отвратительно, нелепо угрожая разуму этой отравой разгула. Вздорное, абсурдное понятие свободы, которым все мы называли временную, суетливо хватаемую потребность отпустить в себе что-нибудь непозволительное, укрощаемое, закованное в рамки вечного «нельзя» – мгновения, украденные у жизни, чтобы прислушаться к шёпоту собственных демонов, добровольно сдаться и познать что-то запретное, давно обожаемое уже за одну только запретность... Шальные пляски в обнимку с глупостью.

Цветные, нахальные огни прыгали и бесились, играли с нами, выхватывая из толпы то одного, то другого, заглядывали в лица, слепили и издевались, чтобы через миг бросить в темноте, улизнуть к кому-нибудь другому. Одинаково яркие, бесшабашные, они словно прятались в её злых глазах, словно сбегали туда на секундный отдых от всей этой зачумлённой буйством толпы. Из всех она одна просто стояла и смотрела, а волны веселья бились вокруг, словно никак её не задевая. Была ли она хозяйкой этого разгульного безумия или всего лишь устала первой?.. Рыжие кудри падали ей на лицо, и от скачущего света казалось, что они – непокорные и пляшущие, – тоже во власти разбушевавшегося праздника. В бодрой, активной, ни на минуту не замирающей толпе эта девушка выглядела чем-то диковинным, никак не возможным в этой агрессивно веселящейся реальности.

Она смотрела, не отрываясь. Вероятно, пыталась угадать, кто я такой и откуда взялся. И эта её настойчивая пристальность, сказочная, фантастичная неподвижность приворожили мою душу, позвали, как слугу.

Я ловил в её глазах вспыхивающие отражения мелькающих огней и никак не мог за ними уследить. Словно она играла со мной, прятала эти блики веселья, манила и завлекала ими, как в болотную топь. Осторожно, будто нечто хрупкое и рассыпающееся, я приобнял её, проверяя податливость, не доверяя самомнению, тому, что верно разгадал знаки женской симпатии. Не отстраняясь, она смотрела на меня всё так же, с холодным, сосредоточенным любопытством, спокойно ожидая моих действий. Расхрабрившись, я прижал её к себе, и она

не сопротивлялась, как живая кукла равнодушно следила за мной. Но её губы – тёплые, живые, сладко-отзывчивые – с неожиданной страстью ответили на поцелуй. Я обхватил её руками, словно никогда и никому не намерен был отдавать, словно всё, что мне нужно было от жизни, – только объятия этой незнакомой, случайно и на миг встреченной рыжеволосой девушки...

Резко и остро, пугая, пытая, её зубы вдруг сжались на моей губе, ухватили, как добычу. Искра боли мгновенно скользнула вглубь тела, ярко и оглушительно пронеслась перед сознанием. Но кажется, ещё прежде, чем я успел дёрнуться, вздрогнуть в панике жертвы, она уже отпустила меня, засмеялась моей боли как довольный, оптимистичный изувер. Исследуя языком отпечатки её зубов, мысленно подсчитывая ущерб, я смотрел на мою улыбчивую, опасную ведьму, жалящую внезапно и молниеносно, горько травящую каким-то особым ядом обольщения. Что-то самолюбивое и гордое, что всегда согласно было ответить на любой вызов, прорвалось во мне, будто толкнуло в спину. И я поцеловал её снова. Не спрашивая и не сомневаясь, я впивался в эти чудесные губы. Чувствуя острые края зубов, болью оплачивал свою наглость. Рыжие локоны спутались под моими пальцами, но я словно не мог оторваться от этой страсти со вкусом крови, дикой и агрессивной. Это было что-то совершенно новое для меня. Непознанное, манящее и губительное. Варварская, алчная в своих желаниях потребность, не спрашивающая позволения и бесконтрольная. Хватающая свою жертву как оборотень из средневековых легенд – зубами, руками, – рвущаяся к самому сердцу сквозь все запреты, все хитроумные капканы воспитанности. Какие-то бесы, вырвавшись, натравили меня на эту безжалостную в горячности влечения девушку, захлестнули нас двоих знойной волной, сплели в объятиях. Пресытившись моей болью, она оттолкнула меня и засмеялась каким-то нервным, восторженно-захлёбывающимся смехом. Но мои демоны жарко дышали у меня за плечами, и я не собирался сдаваться, делиться властью над самим собой ещё и с этой ликующей ведьмой. Беззастенчиво, как собственность, будто имея на то право, быть может, даже грубо, я притянул её к себе. И она вдруг поцеловала меня, уже не кусая, нежно обхватив моё лицо ладонями, почти ласково и восхитительно приятно. Словно наградила за мужество. Взяв меня за руку, как проводник в дивной и страшной стране, она повела меня куда-то наверх, по ступенькам, мимо пьяных и бодрых, спотыкающихся и вопящих что-то в такт музыке незнакомых людей. А взбесившиеся огни паниковали за спиной, цеплялись за нас, стараясь удержать в общей стихии веселья, со стороны больше похожего на бунт, ненароком выплеснувшийся на простор.

...Всё это отпечаталось во мне какими-то яркими пятнами, комками эмоций, в попытках выхваченными из времени. Словно бы кто-то отобрал у меня душу, украл на пару часов и игрался с ней, сминая и разворачивая, швыряя то в одно чувство, то в другое, путал и забавлялся этой беспомощностью моего сознания и ощущений.

Разрывая на мне рубашку, находя какое-то особое, извращённое удовольствие в этой жестокости, в этом истязании ни в чём не повинной вещи, моя новая, подосланная демонами подруга целовала, оплетала руками, царапаясь и кусаясь, превращала секс в какое-то насилие. И неясно было кто и кого насилует, чья страсть злее, и кто победит в этом неистовом поединке. Неуправляемое, первобытное, едкое возбуждение вгрызалось болью и радостью, смешивало любовь и ярость в жгучий, потрясающий напиток, носилось по венам, увлекая в какой-то дьявольский омут...

Как жертву кораблекрушения, меня будто вышвырнуло на берег этим невероятным, страстным, убийственным штормом. Едва вернув себе разум, едва сообразив, где я и что испытал, понимая, что не только не представляю себе кто эта девушка, но даже имени её спросить не потрудился, я спешно одевался, поражаясь своему недавнему безумию.

– Скажи хоть, как тебя зовут, – моя то ли жертва, то ли искусительница лениво накручивала огненную прядь на палец, насмешливо следила за моей суетой.

– Какой-то парень, – я бессовестно развернулся к выходу.

Ведьма зло хохотнула, и что-то увесистое влетело в стену рядом с моей головой.

– Вы что-то обронули, – зачем-то дополнил я свою наглость и вышел, быстро и не оглядываясь, панически сбегаю из этого шумного, заброшенного бликами огней сумасшествия.

...Странно было осознать, что, не пытаясь и не собираясь мстить Венеции, обижать её назло чему-то или кому-то, я тем не менее успел на этом пути намного больше, чем она со всей своей спланированной хитростью. *Кто* водил меня за руку по этой красочной пустыне собственной низости? *Кто* стоял за спиной, шептал и искушал?..

На память об этой прогулке мне остались исцарапанная спина и пульсирующая – живая и капризная – боль в губах. Я сидел на улице, подставляя лицо скудным каплям стеснительного летнего дождя, и совсем их не чувствовал. Разгонял в душе демонов, вылезших неизвестно откуда, выпущенных на волю химическим безумием, для удобства использования спрессованным в таблетки. Смотрел на яркие, манящие окна своего дома, не догадываясь, что где-то там Венеция прячет свои слёзы, свою тоску. Оттого, что жизнь её снова рушат наркотики, что пособником им в этом стал именно я... И один лишь Расти заметил эти слёзы. Да и он не сумел их понять.

Какой-то карнавал дрянных бесов, словно бы одурачивших нас троих, завлек и закружил в обворожительном, пылком танце. И каждый из нас обронул в этой дикой пляске частицу своей души, обменял на совершенно невнятную выгоду, прельщавшую ярким, фальшивым блеском подделку. А мы с Венецией едва не разделили большую её часть на двоих. Тайно, как сообщники...

Никогда я не предполагал, что так легко могу потерять себя, контроль над чем-то, что должно принадлежать только мне – рассудком, душой. И страшна эта потеря была даже не бесконтрольностью, а упрямым желанием, жадной этот самый контроль потерять. Той бездумной радостью, с которой я нёс кому-то свою душу, тем внутренним восторгом, с которым отдал её для злого баловства. Я сделал шаг к пропасти и был счастлив. Заметно наслаждался лёгкостью, с которой мне тот шаг удался, словно хотел быть лучшим в этом тёмном, азартном, приятном спорте...

Возвращая себе разум, собирая его по кусочкам, выветривая остатки дурного, предательского тумана, я ужасался тому, что так просто, оказывается, распродать себя мелким, весёлым бесам. Расшвырять части своей души, как мелкие монеты ярмарочным паяцам. Дружески пожать мягкую лапу дьявола – всегда протянутую, всегда наготове. Не успеешь, не увернёшься – и он уже зацепил тебя ласковыми когтями, тянет в блаженное рабство.

Часть 2 «Грааль»

I

Ноги увязали в асфальте, как в песке, не слушались и заплетались, будто бежал я уже несколько часов. Улицы – знакомые и нет – пустые, безлюдные, травящие душным страхом закоулки...

Я убегал от чего-то жуткого, смертельно, нестерпимо опасного. Чего-то такого, что одним своим присутствием где-то там, за спиной, убивало вернее, чем любая пуля. Просто втапывало душу в ужас, из которого никогда уже не выбраться. Задыхаясь, я всё пытался рассмотреть это что-то, такое страшное, что гнало меня по этим улицам, безнадежно одинокого, паникующего. Постоянно оглядываясь, – чего никогда не делал наяву, – спотыкаясь, теряя скорость и падая, я видел лишь яркое солнце, коловшее жаркими лучами серое, с потрёпанной дорожной разметкой шоссе, уходящее куда-то вниз, к океану. И эта мирная, радостная картина пугала меня ещё больше именно тем, что я никак не мог увидеть, кто же угрожает мне, тем, что, обманывала своей красотой, приближая нечто тёмное и неотвратимое, прячущееся в тёплых бликах безмятежного солнца. Я чуял эту надвигающуюся опасность, знал про неё, как можно знать только во сне – точно, абсурдно и бездоказательно. И бежал, сбивая дыхание, давился собственным страхом, падал и поднимался, с детским, безысходным ужасом всё-таки боролся за жизнь, за каждую её секунду. Мимо чьих-то домов, притаившихся в цветах и зелени... Каких-то людей, бросавшихся ко мне с беззвучными приветствиями. Они растягивали рты весёлыми, немymi улыбками, будто уговаривали сдать, забыть про страх и упорство выживания. Манили какими-то миражами моё сердце, приглашали в свой прозрачный, нетленный мир. Но я не мог остановиться, не хотел поддаться этим хитроумным уловкам сознания и бежал из последних сил, всё больше паникуя от мутного ужаса, от чьего-то холодного, злого дыхания, настигающего и не сдающегося.

...Были какие-то горы, предательски вихляющие тропки. Камни срывались из-под ног, тащили вниз за собой, и какие-то кусты колюче цеплялись, царапаясь и злясь на бестолкового, перепуганного человека, строптиво не желавшего принять свою судьбу и так нагло потревожившего покой этих гор. Что-то дикое и заснеженное, какие-то каменистые склоны и вершины, которых я никогда в жизни не видел... С маниакальным упорством я рвался по этим тропам то вверх, то вниз, ведомый каким-то придуманным, спасительным инстинктом добежать куда-то. Просто добежать и всё прекратится, я снова буду свободен. Только бы добежать... Ведь не может же это тёмное, скрытое чудовище вечно дышать мне в спину?

Но чувствуя, как обрываются нервы, вдруг понял, что слишком медленно, что не успеваю и *не успею*. И от этой мысли первобытный, неконтролируемый, необъяснимый никакой логикой страх захлестнул меня липкой волной. Что было такого важного там, куда я так стремился? Я не знал. Но что-то гнало меня. Всё дальше и дальше. Как свора гончих самого дьявола, подстёгивало ужасом и отчаянным, бессильным до слёз желанием выжить, обмануть что-то, что обмануть невозможно...

Даже во сне я чувствовал, как напрягается всё тело, как связки выкручивают мышцы настойчивой болью, и сердце захлёбывается кровью и паникой. Я боялся потерять рассудок от этого безумия, окружившего меня со всех сторон. Уже в самом сне начиная понимать, что это всего лишь сон – страшный, шизофренический, навеянный всем увиденным, – я стучался в своё сознание, безуспешно пытаюсь проснуться. Но что-то никак не хотело отпускать меня из этого мира моей собственной паранойи, надвигалось, наваливалось, зачем-то решив погубить. И было ещё страшней оттого, что, чуя приближение этой гибели, я всё ещё не видел,

что же именно несёт её в себе, где кроется это сумасшествие в прозрачном, безмолвном воздухе, и с какой стороны ворвётся оно в душу.

В мёртвой до ужаса, до нервного визга, какой-то звенящей беззвучием тишине что-то вдруг налетело на меня, ударило в грудь, и, страшно похолодев, я медленно и жутко стал падать назад. И именно в этом падении, именно на спину как будто и был источник всего того смертельного ужаса, преследовавшего мой разум так упорно. То, от чего я надеялся убежать, теперь вцепилось холодными, костлявыми пальцами в позвоночник, тянуло в какую-то бездну, неумолимо заваливало во тьму. А я ничего не мог исправить и, раскинув руки, хватая пальцами пустой, равнодушный воздух, лишь падал, умирая от ужаса, чувствовал, как разбиваюсь, будто фарфоровая фигурка, которую случайно уронили с каминной полки...

Едва не свихнувшись от этого ощущения бесконечной, разламывающей на куски смерти, я вдруг резко вынырнул из вязкой, густой жижи сна. На меня точно ведро воды вылили, сердце колотилось, словно я и правда сбегал на Тянь-Шань и обратно. Меня трясло от холода, от всего пережитого в этом непонятном, отвратительном видении. Жуткое, омерзительное, разьедающее безумие так и застряло во мне, билось ледяной дрожью где-то вдоль нервов...

Есть такие сны, которые даже стыдно назвать кошмарами, потому что ничего страшного или опасного там, в общем-то, и не происходит. Обычный набор каких-то совершенно невинных картинок, вещей или событий, которые почему-то запомнились, и были найдены спящим разумом. Но вот именно этот мирный душевный калейдоскоп и способен отчего-то рождать странное, страшное, безумное и непостижимое ощущение экскурсии в ад, свидания с самой смертью, с чем-то, что за гранью понимания и логики... И это ощущение нельзя назвать даже ужасом. Это нечто большее – невыносимей и грубее, – для чего не придумано названия. И проснувшись, находишь лишь отголоски, дальнейшее эхо пережитого во сне. Но и эти крупинки познания отравят сердце как зараза, неизвестная и мучительная болезнь, вернуться в память ещё не раз, призрачными осколками изранят душу.

Я взъерошил мокрые волосы, стараясь успокоиться. От чего же я так долго убежал? Чего боялся так панически? И почему-то вспомнился мне вдруг один рисунок, виденный когда-то давно в цветастой религиозной книжке: тощая, бледная фигура на измождённом коне, жадно протягивавшая руки, и чёрная, клубящаяся гарью и огнём, страшная масса вздымалась за ней огромной тенью. И эта чудовищная, раскинувшаяся тьма будто пыталась обхватить дымной смертью весь мир, поглотить его, растворить в себе... Четвёртый Всадник, идущий следом за братьями топтать жизнь человечества за грехи. «Всадник на бледном коне...»

Тьфу! Вот как вспомнится какая-нибудь ерунда, так и поседеть можно. Начитался в детстве идиотских книжек про конец света – вот вам результат, получите свои «оптимистичные» сны. Да ещё и эти чёртовы психологические тренинги, расковырявшие в душе забытые страхи! Иногда мне начинало казаться, что даже на войне, такой, как в фильмах – в грохоте и под пулями, среди огня и смерти, – не было бы так страшно, противно и трудно, как в эти месяцы подготовки... Тошнотворные ночные кошмары до инфарктов в 19 лет... Дожили.

Я выдохнул из себя эту мутную жуть привидевшегося апокалипсиса и опять закрыл глаза. Успокаиваясь, настойчиво отвлекал сердце зовущим, волнующим смехом, цепко хранимым памятью. Излюбленная игрушка моей души нескольких последних дней – тот смех впился в меня, томил моё сердце и нежно мучил. А я всё вслушивался в эти переливающиеся в памяти звуки, искушал себя ими, берёг, как священную реликвию, эти драгоценные частицы чужой радости.

... Она прятала лицо в ладони, утаивала от посторонних смех, будто не желая делиться им с кем-либо, удерживала его в руках. Но не в силах надолго пленить свой восторг снова откидывалась назад, запрокидывала голову и хохотала громко и счастливо чему-то неведомому, но, безусловно, прекрасному. И точно шала и подзадоривая её в этом смешливом изнеможении,

пряди капризно завивающихся волос падали ей на глаза, дразнили, манили меня светлыми, мягкими волнами. А она всё не могла успокоиться, смеялась и смеялась, обхватывая живот руками, словно бы обнималась с каким-то своим собственным счастьем. И этот её смех, эта открытость восхищения миром покорили и приворожили меня, уволокли моё беспомощное, притихшее сердце в какую-то томную, сладкую глубину...

– Заблудился, пехота?

С доведённой до автоматизма, не требующий раздумий, уже впаянной в рефлекс готовностью я развернулся, бодро отрапортовал строгому офицеру, передал опечатанный пакет. Стоял, вытянувшись и напрягаясь лопатками, слушал, как за спиной резво шуршал проворный топот строящихся. И мой затылок раскалялся от одного только понимания, что где-то в этом шорохе теряются её движения. Что, наверное, она всё ещё улыбается, ведь такую радость нельзя удержать резко и сразу. Даже по приказу.

Я пробыл там не больше двух минут, ушёл, так и не посмея обернуться, натолкнуться на её взгляд, выдать своё глупое, мальчишеское воодушевление. Но моя память словно украла у того дня образ смеющейся, очаровательной девушки, скрытно и бережно унесла с собой мельчайшие мгновения тех минут. Эта улыбка, падающие на глаза солнечные пряди, ревниво прячущие от меня, от моего жаждущего сердца свою хозяйку... Те две минуты, проведённые будто бы совсем в другом мире, распались сейчас в моей памяти на множество деталей, агрессивно и весело насакивали, хватали моё воображение. Как шалящие дети, требовали внимания ко всем сразу, и я терялся в этой ликующей толпе. Тот искрящийся смех заразил меня каким-то счастливым томлением, безудержной – и верно, глупой для стороннего наблюдателя – улыбочкой, которую я никак не мог усмирить, которой хотелось поделиться со всеми, с кем угодно. Словно сердце пыталось рассказать что-то занимательное, важное и весёлое, не успевало подбирать слова и захлёбывалось этим торопливым восторгом как в детстве.

С того момента я жил в двух абсолютно не похожих друг на друга реальностях. Потее и задыхаясь на учениях, вздрагивая от взрывов и стрельбы на полигоне, уставший и замученный подготовкой, страхами и неизвестностью будущего, я всё же воспринимал это как нечто чужое, просто выданное моей жизни на время. Точно я жил за кого-то другого, совсем мне постороннего, притворялся им и лишь потому вынужден был терпеть всё это. Нас усиленно готовили к тяготам военных действий, но я будто никак не хотел осознать, что это происходит именно со мной. Что через месяц-два всё станет намного сложнее, страшнее. Что враги больше не будут условными, безобидными, разрисованными мишенями. Что стрелять будем не только мы, но и в нас... Моя душа ничего из этого не желала принимать всерьёз, отбивалась от навязанных тревог, чтобы сосредоточенно и тайно изучать новое, долгожданное сокровище.

Любовь...

Я так упрямо и спешно искал это изумительное чувство – в темноте и на ощупь, ранясь и раздражаясь. Стремился измерить, выявить какие-то признаки, смутные вздрагивания истерзаных нервов. Пугал своё сердце этой дотошностью, злил сам себя так долго, что даже засомневался, существует ли вообще это призрачное, оваянное сказкой чувство. Или оно – как тот легендарный «источник жизни», дар вечной молодости, о котором будто бы все слышали, все говорят, но никто ни разу так и не побывал там, не прикоснулся к живительному волшебству?.. И как одержимый искатель, я всё шёл куда-то на свет, обманывался и отчаивался, чтобы, наконец, забросив эти бессмысленные поиски, натолкнуться на это чувство совершенно неожиданно в пустом и гулком коридоре. Оказалось вдруг, что влюбиться можно за две минуты просто в звук голоса, в смех, тень, удивительное, завораживающее движение... Бесповоротно и упоительно свалиться в это тёплое и дерзкое чувство и забыть про всё на свете.

Знание, дарованное самой природой, не подчиняющееся ни опыту, ни расчёту, сокрытое от разума, бережно хранится в душе, чтобы однажды проснуться и подчинить себе всего тебя.

Без доказательств. Без вопросов и проверок. Моё сердце влюбилось, поняло это сразу и рассказало мне. Я просто *знал*, что влюбился. И этого простого и очевидного знания было достаточно, чтобы навсегда изменить мою жизнь, увести её, как заложника, в хрупкие, коварные лабиринты.

Мог ли я представить тогда, насколько оглушительным и непредсказуемым способно быть это искрящееся чувство? Насколько властно станет управлять оно моей судьбой?..

Трепетная, горячая, страшная, страстная, болезненная, восхитительная сила, захватывающе смешивающая счастье и боль... Чтобы однажды спасти или погубить...

II

...Он бежал по какому-то полю, заваленному обломками, безобразно покорёженными глыбами изувеченных домов. Бежал, пока что-то не толкнуло его лицом в грязь. Он ещё успел выставить руки, лоя землю перед собой, в последней, безнадежной попытке тела уберечься от боли. Но природа никогда и никак не сможет спастись от человеческой кровожадности. Никакими усилиями эволюции не оградить жизнь от испытанной – злой и верной – мощи свинца...

Это должно было сломить в нас инстинкты сострадания и страха, выданные при рождении, но лишние в этой вечной борьбе людей против людей, приучить нас к жестокости, к спокойствию при виде чужой боли. Но вместо этих агрессивных чувств рождало лишь омерзение, какую-то невероятную, нервно дрожащую брезгливость. Мы должны были привыкнуть к насилию, к крови и смерти, выстроить вокруг своего сердца незримые, но мощные стены циничного хладнокровия, которое никакой ужас уже не смог бы пробить, прорваться в душу, обрушить её в смертельно опасные в бою ловушки уныния или паники. А потому нам заранее предъявляли эти документальные подтверждения человеческих зверств. И это было страшно и противно. Но в то же время всё это было слишком похоже на кино, на мерзкую, качественную подделку, чью-то прельстившуюся натурализмом большую фантазию. Сознание хваталось за эту ничтожную возможность, тщательно отбиваясь от понимания того, что всё это – настоящее, пережитое кем-то, увиденное и снятое. Что вон тот падающий, захлебнувшийся кровью человек когда-то был живым, смеялся чему-нибудь, любил и грустил... А теперь навсегда остался на этой плёнке бесконечно давиться собственной болью.

На этих сеансах я быстро уставал травить свою душу ужасами чужих войн, тем более что научить ничему они не могли, а лишь пугали и терзали. Психологическая подготовка к беспощадной злости настоящего боя – попытка издёргать свои нервы уже сегодня, чтобы отработанное равнодушие, *может быть*, успело спасти нам жизнь когда-нибудь потом. И меньше всего мне нужен был этот чудовищный тренинг именно сейчас, когда сердце моё было неизменно увлечено чувством таким далёким, таким нежным и радостным, что даже чужая, вопящая боль не хотела его тревожить. Скопив глаза в уголок экрана, где мелькало и вздрагивало что-то размытое и безопасное для рассудка, я снова возвращался в то необыкновенное утро, властно захватившее моё воображение, снова и снова путешествовал по своей памяти. Вот уже два дня этот смех жил во мне, играл с моей душой, и я невольно улыбался ему в ответ. Бросая свою действительность, шёл за ним куда-то в светлое, задумчивое счастье. Потрясающе требовательный, певучий и красивый он вёл меня к ней – к белокурой, смешливой девушке, даже имени которой я не знал...

– Ты больной?! – Расти выдернул меня из мечтаний злым, шипящим шёпотом. – Тебе, что ли, всё это нравится?

Я непонимающе вскинул глаза на экран – очередное кроваво-кричащее месиво впилося в мой разум, но я тут же отвлёкся на Расти. Он, сердито насупившись, разглядывал меня, словно это я только что убил тех людей на экране и веселился, оскорбляя и нервируя его своей безжалостной радостью.

– Что нравится? Что я сделал-то?

Удивлённо и беспомощно, всё ещё заторможенный мечтательностью, я осмотрелся – хмурые и суровые, озлобленные чужими, мрачными изуверствами, все они жили в этой реальности, все послушно принимали дозы пропитанной кровью, записанной на плёнку жестокости.

– Ты чего скалишься, как на цветочной полянке? Нравится, когда детей расстреливают? – Расти злобно бурчал мне в ухо свои претензии. – Будешь сидеть здесь и потешаться – я тебя лично санитарам сдам.

Наверное, не ему одному моя странная улыбочка показалась ненормальным, отвратительным наслаждением чужими страданиями. Но в этот раз мне было наплевать на любые нервные наставления.

– Расти, я влюбился, – перебивая его, неожиданно для себя самого признался я.

Словно не способен был сдержаться, словно жизненно важно вдруг стало поведать этот секрет кому-нибудь именно сейчас. Как долгий вдох, я просто не смог удержать это чувство в себе и теперь так некстати выплеснул его на Расти.

Он озадаченно смотрел на меня, размышлял о чём-то, будто только в эту секунду, после этих слов всерьёз убедившись в моём окончательном, бесспорном безумии.

– М-да, Тейлор... Главное, вовремя, – угрюмо, не желая смириться с моим счастьем, попытожил он. – Тут бы до отправки дожить и не чокнуться, а он влюбиться умудрился. И как ты везде успеваешь?

Всё ещё ворчливо, по какой-то инерции раздражения, но уже успокаиваясь, найдя наконец-то объяснение моей неестественной весёлости, Расти и сам как будто немного перенял её у меня, усмехнулся, отвлекая себя моей любопытной новостью.

– И кто она? Познакомь.

– Чёрта с два! – моментально и совсем не думая, ляпнул я.

Расти обидчиво приуныл. Видимо, решил, что я припомнил ему Венецию, что использую его искренность против него же. А я попросту не знал, как рассказать про так абсурдно возникшее чувство к совершенно незнакомой девушке. Про уверенность, что это – не обычное увлечение, истомившаяся в одиночестве страсть, а что-то настоящее, сильное... Хотя и понадобилось мне для такой убеждённости всего несколько минут. Моя гордыня не хотела признаваться, что, несмотря на всю свою любовь и пылкость, я побоялся даже заговорить с моей жизнерадостной незнакомкой, встретиться взглядом. И всё, на что я отважился – следить изда-лека, тихо надеясь, что как-нибудь всё же выторгую у провидения право стать частью её жизни. Но Расти был едва ли не единственным шансом узнать про ту восхитительную девушку хоть что-то, и я согласен был стерпеть его насмешки, лишь бы отобрать у везения пару лишних процентов успеха.

Оформляя свой поспешный и глупо вырвавшийся отказ как шутку, я заулыбался:

– Узнай сначала хотя бы её имя, а потом и знакомиться можно.

Расти неуверенно засопел, похоже, уже запутавшись:

– Это что ещё за выдумки? Я теперь имена твоих подружек угадывать должен, что ли?

Я чувствовал себя полным идиотом, неуклюжим болваном, а Расти всё никак не желал помочь моему истерзанному самолюбию выкарабкаться из этих сетей неловкости.

– Да не знаю я её имени, в этом и проблема! Я вообще ничего про неё не знаю. Видел пару минут и только...

Расти иронично поддакнул, уже заранее отрицая для себя возможность такого немыслимого бездействия моей хвалёной наглости, не веря в то, что я над ним не насмехаюсь и не разыгрываю, выискивал в моём сбивчивом бормотании какие-то ловушки.

– Правда, не знаю, – подбодрил я его веру в мою честность.

Он ухмыльнулся, внимательно глядя на меня, и искры издёвки ещё шустрее запрыгали в его глазах.

– Ну ты просто человек-загадка, Тейлор. Пойди и спроси. Без меня ты с такой незатейливой задачей справишься? Или перед твоим носом листок с текстом подержать, чтоб не заикался?

Расти дурачился, веселя застоявшимся сарказмом, безопасно развлекался, чувствуя, что я как никогда далеко спрятал свою вспылчивость, что нервы мои сейчас просто не способны на злость и каверзы. Жалея, что зануда Расти никак не может принять любую, даже неприкрытую просьбу о помощи до тех пор, пока она не выражена чётко и определённо, я вздохнул.

Он, как дотошный, припорошенный офисной пылью бюрократ, словно бы требовал заявки, заполненной по всем пунктам.

– Не могу, – уставая повторять очевидное, отдельно и по слогам, максимально доходчиво сказал я.

Но Расти тут же, не дослушав, радостно хохотнул:

– Эй, а она вообще существует? Или ты её просто так выдумал? От гормональной тоски? Или чтобы поговорить о чём было в суровых мужских компаниях?

Не собираясь даже представлять, в каких недрах своего неуклюжего разума Расти выкопал эту «гениальную» идею, и без того уже заметно теряя терпение, я перебил:

– Существует. Или я действительно рехнулся, и мне всё это привиделось. Тогда, конечно, будет обидно.

Расти усмехнулся, но я не дал ему встрять с какой-нибудь очередной пошлой фантазией:

– Ладно, давай серьёзно. Она учится на пилота, и это всё, что я знаю. На прошлой неделе у них лётная практика началась.

Расти уставился на меня в каком-то немом, оторопелом изумлении. Как будто я сказал нечто парадоксально-глупое, нелепое, и он всё никак не мог поверить в этот вздор.

– Она – пилот? – наконец-то выловил он свою застрявшую мысль. – Тебя как к этим «пернатым» занесло вообще?

Я начинал раздражаться оттого, что Расти говорит вовсе не о том, что он никак не хочет сосредоточиться и разбрасывается своими вопросами совсем невпопад.

– Да неважно как занесло! По приказу, как ещё? Мне твоя помощь нужна, вот и всё.

Но Расти вдруг совершенно неожиданно заупряился.

– Помощь ему нужна... – пробурчал он. – Может, мне в базу данных влезть? Или досе её выкрасть? Или лучше её саму похитить, ведь так информация, без сомнения, достоверней будет, как считаешь? Не трудись, я за тебя отвечу: нет, нет и нет, – он саркастично-ворчливо топтал мои иллюзии. – Влюбись в кого поближе, тогда и побеседуем. Тебе мало девушек вокруг? Сам оригинальничай пока не осточертеет, но я в небо за твоей красоткой не полезу. А под трибунал тем более.

Я чуть не заплакал от этого насмешливого отказа. Почему Расти никак не хотел понять, насколько важна для меня та девушка? Что без его шпионских талантов мои шансы заинтересовать её стремительно и наперегонки несутся к нулю? Я едва представил себе сцену своего беспомощного ухаживания, и уже хотелось застрелиться от неизбежного унижения. Как-то так сложилось, что эта элита наших войск, «боевые ангелы-хранители» редко и мало считались с заслугами копошащейся в пыли, суетливо и шумно бегающей по полям сражений пехоты. Наверное, это неизлечимая болезнь любой армии – каждый род войск воображает важнейшим для победы именно себя, агрессивно отбирая порции славы и доблести у всех остальных. Так что будет поистине удивительно, если она пожелает обратить хоть какое-то внимание на назойливого бескрылого поклонника без заслуг и внушительного звания, с одной лишь восторженной развязностью в арсенале. Но рассчитывать на подобное чудо из чудес было бы невероятно глупо. И хотя я очень на него надеялся, но всё же не рассчитывал. А чтобы заинтересовать такую девушку, мне нужна была информация. Любая – от любимого цвета до даты рождения её собаки. Что угодно, что моя изворотливая находчивость в этой войне за благосклонность сможет использовать. И я надоедливо ломился сквозь упрямство Расти.

– Расти, ну пожалуйста. Только у тебя получится такое провернуть. Ты ведь про кого угодно можешь добыть информацию. Не зря же природа дала тебе этот дар? Помогите мне один раз, и я больше никогда ни о чём тебя не попрошу, – как ребёнок, выпрашивающий что-то заветное, долгожданное, я цеплял его руки, умоляюще заглядывал в глаза. – Я же не требую секретных сведений. Узнай про неё хоть что-нибудь, что угодно. Ты можешь, я знаю. Если не ты, то никто...

Лесть, лесть, лесть... Как же много на неё можно купить! Великолепнейшая, вечная и неизменная «монета» человеческого общения, номинал которой определяется лишь опытом души.

Я тормозил тщеславие Расти, закармливал комплиментами, преувеличивал и приукрашивал его находчивость и таланты разведчика. Я тащил его на поводке его же гордости, дразнил трусливым нежеланием принять этот сложный вызов, пока его же самолюбие не стало мне союзником. И он всё-таки сдался.

III

– Ну всё, Тейлор, похоже, ты доигрался, – Расти мотнул головой, указывая куда-то мне за спину. – Только не суетись, – тут же одёрнул он моё автоматическое желание обернуться. – Твоя «птичка» тебя всё же выследила. Шустро она сообразила.

Расти говорил, ухмыляясь, словно о чём-то совсем постороннем, точно рассказывал что-то занимательное. Но глаза были серьёзны, и я прекрасно чувствовал его напряжённую, затаившуюся в этой хитрости тревогу.

– И что она делает?

Я с трудом сдерживал дрожание своих нервов, странное, упорное, рождённое и страхом и радостью какое-то необъяснимое, паникующее воодушевление.

– Угадай, – тут же съязвил Расти. – Держит в руках приговор трибунала и машет тебе им.

Я снова чуть было не оглянулся, как будто намереваясь проверить эту злую шутку, успокоить всполошившуюся мнительность.

– Ничего не делает, – сжалился над моей трусостью Расти. – Стоит и смотрит. На тебя.

От этих слов, от одного только понимания того, что *она* смотрит мне в спину – наблюдает, изучает и Бог знает, что уже успела про меня надумать, – мои лопатки сковало вязким холодом. Дробная, резвая дрожь пробила сразу всё тело, и движения тут же стали неловкими, непослушными. Как марионетка я запутался в каких-то невидимых, липнувших к рукам и ногам нитях и ничего не мог с этим поделать. Расти исподлобья осторожно присматривался, а я боялся пошевелиться лишний раз, словно эта скованность была чем-то спасительным, защитным секретом выживания, пронесённым сквозь тысячелетия – замереть, не дышать, авось не заметят. Нелепо и глупо.

По лицу Расти я безуспешно пытался выяснить, насколько близки и суровы надвигающиеся проблемы.

– Вот скажи мне, как она тебя вычислила?

Он был как будто спокоен, сказал это едва слышно, даже как-то сонно. Но я прекрасно знал, что именно так и действует его паника. Таясь внутри его души, отгораживается какой-то странной, резкой усталостью, прячется в этой видимости апатии. И потому в минуты страха Расти словно бы затихал, останавливался – порой лишь на миг, – но нуждаясь в этом секундном замирании нервов, чтобы сосредоточиться, упорядочить свой испуг, заставить себя искать спасения.

Трибунал. Это было куда страшнее гражданского суда, через который мы оба уже прошли, и в котором тоже не было ничего приятного. Но теперь это будет приговор не только свободе, не просто утраченным, оставленным за решёткой временем. Вместе с погонами и званием трибунал лишал чего-то большего – чести, гордости, уважения... Целой части души, которая незаметно и необъяснимо сжилась с армией, с навязанными шаблонами, приклеилась ко всем этим знакам отличия, шевронам, нашивкам. И снять эту форму по вердикту суда было позором. Анафема, приправленная заключением и общим, нескрываемым презрением. А этого Расти, пожалуй, и не вынесет...

И лишь теперь, заметив в нём этот его загадочный рефлекс спокойствия в опасности, я подумал вдруг, что в своих эгоистичных затеях совсем не потрудился поинтересоваться, насколько рискованно втянул его в эти игры с уставом. Чего на самом деле стоила ему та информация?

Я даже вздрогнул, вспомнив его слова, показавшиеся мне глупым, напрасным малодушием тогда, и так пророчески зазвучавшие в моей памяти сейчас...

– Мой бог, Тейлор, я из-за тебя до трибунала допрыгаюсь.

Он угрюмо сопел, не решаясь выдать мне такие долгожданные сведения, словно бы давая моему нервному, взбудораженному благоразумию время одуматься. Но моё сердце рвалось к той девушке. И, как вопящий, истеричный и упорный в капризах ребёнок, я ни на кого и ни на что не хотел отвлекаться. Я просто не мог не использовать природный, неумолимый авантюризм, который так непредсказуемо иногда оживал в Расти, и пульс которого уже проснулся, вдохновлённый первой удачей. Я рассмотрел этого искателя приключений привычно и быстро, легко узнавая того безрассудного Расти, с которым «воевал» ещё в банде Вегаса. Я поймал его на приманку из гордости и тщеславия, на коварную смесь хитрости и взаимовыручки, пусть невольно, но забыл про риск. Принял его помощь, не размышляя, как нечто должное, принадлежащее мне по праву дружбы...

Он честно пытался отговорить меня тогда, не понимая, что разум, замученный страстным стремлением, уже ничего не услышит и не поймёт.

– Выбери лучше другую, а? – Расти сосредоточенно разглядывал меня, будто и впрямь ожидал, что я вздохну, развернусь и пойду искать другую, только из-за одного этого его просительного сопения.

– Замужем? – затаив дыхание, осторожно уточнил я, а моё сердце едва не погибло от такой очевидной возможности, которую до сих пор беспечно упускало из расчётов.

– Нет, – Расти пожал плечами, как будто удивляясь этому вполне естественному предположению.

Я облегчённо позволил сердцу жить дальше, но сам Расти радоваться почему-то не торопился.

– Лучше б она замужем была, – как-то странно сказал он, словно утаивая до последнего какую-то жестокую весть, надеясь, что я сам догадаюсь, и ему не придётся произносить вслух некие заготовленные, тяжкие слова.

Но я быстро уставал от его не нужной мне таинственности.

– Так, Расти, не томи. А то я сейчас кого-нибудь застрелю, – я агрессивно подгонял эту нерешительность, не в силах спокойно дожидаться соизволения его совести.

– Мэрион Энн Морган, – Расти вздохнул, окончательно сдаваясь. – Ничего не напоминает?

Испытующе глядя на меня, он, похоже, и правда считал, что это долгожданное имя вдруг всё расставит на места, окончательно объяснит что-то моему сердцу, оградит его от настойчивого, властного, неуправляемого чувства. Будто скрывалась под этим именем не очаровательная девушка, а какая-нибудь проказа, чумное поветрие, от которого Минздрав и инстинкты предписывают бежать незамедлительно и пугливо.

– Морган-Морган... Мэрион Энн... – я старательно перебирал в памяти имена людей, когда-либо встречавшихся мне на пути. Но никаких Морганов не помнил или не знал. – Нет, ничего не напоминает. А должно? Мы её ограбили, что ли?

Искренне надеясь, что никого из всевозможных Морганов мы всё-таки не грабили, я наивно смотрел на Расти.

– В каком подвале тебя растили, Тейлор? – он даже руками развёл, беспомощный перед моей бестолковостью. – Мэрион Морган – дочь полковника Николаса Моргана. Он же почти легенда ВВС!

Расти снова выжидающе посмотрел на меня, видимо, рассчитывая всё же на моё внезапное озарение. Но сегодня его вера в мою сообразительность хронически не оправдывалась. В чём именно заключалась легендарность бравого лётчика Николаса Моргана, я по-прежнему не догадывался.

– Ну, этот урок я, определённо, проспал, – оптимистично подтвердил я свою тупость. – Никогда не любил историю.

Расти завздыхал как педантичный воспитатель, усердно и безнадежно бьющийся с нерадивым учеником. Но за этими удрученными вздохами слишком хорошо было заметно удовольствие почти детское. От превосходства осведомлённости, оттого, что лишь его феноменальная память умела хранить невероятное скопище имён и фактов и за секунды отыскивать данные во всём этом барахле эрудиции. Я терпеливо приготовился выслушать историю легендарного полковника, хоть, конечно, несмотря на все свои неоценимые заслуги, интересовал он меня намного меньше, чем его смешливая дочь. Но Расти не предоставил права выбора...

Николас Морган, тогда ещё капитан, был сбит при выполнении боевого задания над вражеской территорией. Пять суток считался пропавшим. Пять суток его жена и маленькая Мэрион, замирая от отчаяния, вздрагивали от каждого звонка. Не отрываясь, высматривали его в новостях, как будто и правда ждали увидеть случайно мелькнувшего в кадре родного человека. Трое суток он пробирался к своим. Был даже взят в плен, но бежал и всё-таки выбрался, откупившись от судьбы парой лёгких ранений... Это «путешествие» вошло во все учебники по выживанию в тылу врага, прославило армейскую подготовку и лично капитана Николааса Моргана...

Человек-легенда... Человек, который спас сам себя...

Расти, укрощая восхищение, заученно предьявлял моему воображению все эти удивительные свидетельства чужого мужества, за годы использования облагороженные и дополненные безобидной словесной доблестью. И я моментально представил себе прямого, подтянутого, гордого офицера, бесконечно храброго и нравоучительного «отца-командира», каждое слово которого эпохально и достойно хроник. Человек-лозунг... Образ идеального солдата – в меру умного и не в меру патриотично-громкого, – который грубыми мазками навязывает дешёвая, не имеющая ничего общего с реальностью пропаганда. И то ли от этой оскомины героизма, то ли от запыхавшегося, спешного восторга Расти, мне вдруг стал заранее неприятен этот полковник, обломки истребителя которого давно сгнили где-то далеко в негостеприимных горах. Я как-то сразу невзлюбил это своё представление о нём, не захотел примкнуть к толпе почитателей его подвига. Ревность и зависть... Я мгновенно разглядел в нём помеху в моей борьбе за Мэрион – этот сверкающий славой образ неумолимо и равнодушно, каплю за каплей изымал у меня всякую надежду.

Расти дотошно заметил это моё насупленное уныние и даже как будто обрадовался ему. Похоже, очень уж сильно не хотелось ему возиться со мной.

– Так что не ту девчонку ты наметил, – он расслабленно хохотнул. – Заваливай в койку какую-нибудь другую, а то с этой ещё по шее заработаешь – не разогнёшься.

Эта грубость, эта его пошлость – совсем неуместная, непозволительная, никак не пожелавшая ужиться рядом с моим оглушительно-властным чувством, – вырвала вдруг из моей души ярость почти дикую, срывающуюся, мгновенно бросила её в ответ Расти. И, несмотря на то, что подобное моё буйство не способно было длиться хоть сколько-нибудь долго, но даже краткий миг этого сполоха мог натворить немало. Сцепив зубы до боли в скулах, я сжал кулаки, словно и вправду старательно удерживал кого-то на привязи.

...Сам не понимаю, каким чудом я всё-таки сдержался тогда и не ударил Расти. Что-то – циничный расчёт или самообладание – отвлекли и утомили мою минутную, фанатичную ярость. Но именно это гневное возмущение, этот всплеск души и предьявили Расти всю неукротимость моего чувства. Это моё очевидное бешенство стоило десятка слов и объяснений.

– Ладно, Тейлор. Вижу. Ты серьёзен как никогда.

Расти как-то опасливо смотрел на меня, заметно удивляясь этому психованному выпадку. Он сам учил меня драться когда-то и, вероятно, успел уже не раз пожалеть об этом. Подчас моим нервам не мог доверять даже я сам, а Расти и того меньше.

– Это что-то меняет? – я с трудом отпустил свою психику на волю.

– Что именно? Серьёзность твоих намерений? – Расти пожал плечами. – Меняет. Качество и количество ожидаемых проблем, например.

Он всё ещё не верил в меня, в реальность придуманной мною сказки и заражал своим сарказмом, своей опостылевшей, безжалостной рассудительностью.

– Ты понимаешь, что она – не только дочь офицера, до погон которого тебе ещё служить и служить. Она – дочь героя. Ну узнаю я её любимый способ завязывать шнуры, и что?

Я тихо грустил, выслушивая издевательства над моими мечтами. Но грусть эта была чем-то хоть и обречённым, но просто существовавшим рядом с моим упрямством. Ни за какие увещания я не отдал бы право выйти на этот поединок с судьбой, даже если бы заранее и точно знал, что проиграю.

– Выясни, что сможешь. Всё пригодится. И шнуры тоже, – угрюмо сказал я, замыкаясь в собственной решимости, оберегая её и боясь растерять в этих ненужных спорах.

– Ты, никак, повеситься надумал ради прекрасной дамы? – Расти бестактно рассмеялся, стремясь разбавить мою мрачность своими грубыми шутками.

Но я не оценил его клоунады.

– Правда считаешь, что у меня нет шансов? – я попытался выпросить у него подачку своим надеждам.

Но Расти никогда не подавал попрошайкам.

– Нет, – бесстрастно загубил он остатки моей наивной веры. – Конечно, нет. И что ты вообще затеял? Подойдешь к ней: «Привет, я Джейсон» и понесёшь всякую чушь про чувства и прочее? Да у неё таких неугомонных мечтателей в день по взводу. Повезёт, если она вежливо от тебя отвяжется.

Расти развозил красочную словесную тоску, а я слушал его очевидные благоразумные, но такие неутешительные доводы и грустил, расставаясь с иллюзиями пылко, неосторожного, неопытного сердца.

– Да уж... до неё как до неба. В общем-то, в буквальном понимании.

Но Расти вдруг засмеялся – весело и хитро, – словно утаивал до сих пор некий праздничный сюрприз, и вот именно сейчас, после моего унылого заявления и пришла пора забросать друг друга конфетти.

– Ну, не всё так трагично. Вот смотри – девочка растёт в тени своего славного отца. Ордена, медали, армия кругом и всюду. Полагаешь, куклы у неё в детстве были? Или сплошь самолётики с пистолетами? Может, она вовсе и не хотела в армию идти. Но при такой наследственности разве куда свернёшь? Вот почему, например, она в пилоты вертолётчиков подалась? Блистательный папа – лётчик-истребитель, а она ближе к обычным смертным решила быть? А теперь ответь на простой вопрос: чего такой девушке не хватает?

Расти победно уставился на меня, затягивая паузу, как докладчик на вручении какой-нибудь вождя премии.

– Романтики, – сообразил я, радостно суетясь сердцем.

– Точно, – Расти заулыбался, словно всю жизнь ждал этого моего озарения. – Надо её заинтриговать. Любопытство у девушек, особенно таких амбициозных, просто никаких границ не знает. Вот и покоряй её романтической загадочностью. Если не боишься. А то подумай ещё пару сотен раз – трибуналу ведь наплевать на твои там якобы объявившиеся чувства.

Но ни сотни, ни одного раза мне уже давно не требовалось.

– Никогда ничего подобного не испытывал, – вдруг сказал я, надеясь всё же растолковать ему важность этого потрясения своей души, убедить в чём-то или исповедаться. – С Венцией всё было совсем не так, хоть мне и почудилось однажды, что люблю её. Но это было не то... Просто тень, отголосок... Тоска расставания, привязанность. Что-то тёплое, но тем не менее расчётливое. Просто потому, что хорошо было быть с ней, не хотелось ничего менять. Теперь же что-то совершенно непостижимое. Я будто дышу вполсилы, боюсь спугнуть что-

то... И ещё эта какая-то невероятная жажда видеть её – пусть издалека, тайком, – но быть с ней хотя бы так. Как призрак, слуга... Не знаю как это лучше объяснить...

Нелепо и многословно я всё старался передать то, что чувствую. Но оказалось, что любви нельзя обучить, нельзя даже примерно описать её кому-то другому, ещё не испытывавшему это чувство, так, чтобы он понял. И Расти не понял. Но и не распознав всей причины стойкого, оголтелого упорства, так редко баловавшего мой характер, он всё же принял эту странную, загадочную для него одержимость. Просто поверил, что мне это нужно...

И вот теперь – запоздало и отчаянно – я вдруг понял то, что он так безуспешно пытался внушить моей сознательности тогда. Что подобная исступлённость, страстная порывистость – очень плохой союзник в мире, где властвует устав, где можно нарушать правила ровно до тех пор, пока никто не знает, что ты их нарушаешь.

– Ладно, Тейлор. Вечно ты тут не просидишь, – Расти решительно поднялся. – Лично я линияю. Говоришь, лица она твоего не рассмотрела? Значит, не паникуй, сделай вид, что турист, и рули на взлёт. Будет вопросами кидаться – всё отрицай. В особенности про меня.

Он ободряюще похлопал меня по плечу, стараясь хоть немного смирить моё мечущееся волнение. И я на мгновение вспомнил давние времена, эти его покровительственные жесты, приевшиеся мне почти сразу после нашего знакомства – старший брат, не иначе.

– Иди уже, – отпустил я его услужливую заботу. – Успокоительное только всё не съешь. Мне тоже понадобится...

В людском шуме – всех этих весёлых вскриках, звяканье бутылок и стаканов, – я бесполезно попытался уследить за шагами Расти, узнать, насколько благополучно миновал он любопытство или злость Мэрион. Помедлив, ловя ускользящую отвагу, нацепил маску скучающего равнодушия и сам наконец-то поплёлся к выходу.

– Простите, могу я кое-что спросить?

Я неосознанно, как-то автоматически обернулся на этот голос. Просто не мог не обернуться. Впервые я был к ней так близко, и, наверное, даже ценой возможного приговора не захотел отказаться от такого счастья. А теперь слишком поздно было делать вид, что эта фраза относилась не ко мне, что я её не заметил, не услышал.

– Вы мне? – я добросовестно сдерживал улыбку в рамках спасительной официальной вежливости. – Буду рад помочь, если смогу.

Мне хотелось смеяться, обнять её и закружить, сотворить какое-нибудь восторженное безумство, но приходилось следить, чтобы улыбка моя была не более чем приветливостью. Мэрион внимательно и абсолютно спокойно рассматривала меня, и я не знаю, что встревожило бы моё сердце больше – эта её неизвестно что таившая сосредоточенность или агрессия прямых, недвусмысленных обвинений.

– Что вы делали у меня в комнате? – как будто завершив опознание моей личности, окончательно утвердившись в подозрениях, вдруг без всяких предисловий спросила она.

И вот это было уже слишком похоже на обвинение. Трусливая, нервная изворотливость тут же укротила все любовные танцы моей души.

Глупо. Невероятно глупо. Попался как дурак. Сейчас мне стала непонятна сама идея забраться к ним в казарму, добровольно набрать охапку как минимум дисциплинарных взысканий. Но в тот день я будто бы заключил пари с каким-то нахальным, язвительным чёртом, и он легко приманил меня этой дерзостью. Я словно доказать захотел кому-то... Конечно, ещё вчера казалось таким романтичным оставить те цветы на её подушке, рискнуть если не всем, то очень многим ради дурного, вдохновенного желания сблизиться, пусть и так символически. И мой неуёмный авантюризм весело запрыгал вокруг этой идеи, едва лишь представился случай воплотить ту непозволительную шалость влюблённого сердца. Но сегодня за эти «подвиги» мне светили обвинения в преследовании и домогательстве, и кто его знает, какая уйма вер-

диктов помельче волоклась следом. Вплоть до кражи, если у кого-то из девушек затерялась какая-нибудь драгоценная мелочь. И вот теперь страх заработал вполне результативно, шустро затаптывая всю романтичность моей натуры.

– Простите? – максимально искренне глядя в глаза Мэрион, тщательно разыгрывая замешательство, я надеялся, что в своё время достаточно поднаторел в притворстве и пока ещё не растерял все эти полезные приютские навыки.

Строго сдвинув брови, Мэрион чётко и уверенно повторила:

– Вчера я застала вас у себя. Что вы там делали?

Я опешил. Это удивление мне совсем не пришлось разыгрывать. Значит, она всё-таки видела моё лицо, узнала меня? Тогда почему ни командование, ни военная полиция до сих пор про это не слышали? Теоретически я уже должен был рыдать и оправдываться, умоляя казнить не очень больно. А вместо этого она пришла одна...

– У вас? – на всякий случай сдержанно возмущился я, изнывая от любопытства, от почти детского, непреодолимого желания узнать, куда же заведёт нас этот разговор. – Извините, но вы, определённо, что-то путаете. Я даже не знаю, кто вы такая.

Мэрион исподлобья, как-то смешно насупившись, будто нахохлившись, недоверчиво смотрела на меня, молчала и, похоже, сомневалась уже в своей недавней убеждённости. А я с трудом сдерживался, чтобы не полезть обниматься. Моя радость, запертая в сердце, изводила моё суровое самообладание, выплёскивалась как вода сквозь пальцы.

– Может, объясните? – играя в деликатность, я пытался выведать тайны её расследования. – Кто-то забрался в ваш дом? Вор?

Я «наивно» заглядывал ей в глаза со всей участливой доброжелательностью случайного, но благородного прохожего, коверкал факты, собирая эти мелкие неточности в мозаику собственного алиби.

– Нет, не в дом. В казарму.

Мэрион всё ещё строго изучала эту мою готовность помочь. Но видимо, я был убедителен в своей роли больше, чем сам ожидал.

Она вдруг покраснела, как-то засуетилась, неловко теряясь в объяснениях:

– Извините... я ошиблась... Мне показалось... Простите... Все эти цветы, подарки – всё это сбilo меня с толку. Хотела узнать, кто и зачем мне всё это присылал. Извините ещё раз.

Она развернулась, словно сорвавшись, быстро зашагала прочь.

– Эй, подождите! – почти выкрикнул я, испугавшись, что вот сейчас она уйдёт, и я больше никогда и никак не смогу доказать ей, что это всё-таки мои цветы каждое утро ждали её на проходной, присылались с почтой и курьерами. Что это всё же я так настойчиво и беззастенчиво терзал её любопытство.

Словно догоняя право претендовать на всю ту романтику, которую мы с Расти устроили вокруг моей любви и этой девушки, я подошёл к ней.

– Не думаю, что вам следует опасаться того, кто цветы дарит. Возможно, он просто стеснительный, – я усиленно заулыбался, стараясь исправить свою оплошность – ведь наверняка мой визит нешуточно её напугал, а я даже не понимал этого до сих пор. – Вряд ли он хотел напугать...

– Я не испугалась, – упрямо повторила Мэрион, пожимая плечами. – Просто интересно было узнать, кто меня так балует. Спасибо за помощь.

Она протянула мне руку, и я аккуратно, точно боясь помять, пожал её. Не в силах совладать с собственным счастливо замирающим сердцем, удержал её ладонь чуть дольше, чем могла позволить себе простая учтивость и намного дольше, чем я мог даже мечтать ещё вчера.

– Удачи на завтрашних стрельбах, – вдруг сказал я, выдавая себя и улыбаясь от этого «опрометчивого», весёлого признания.

Мэрион застыла на мгновение. И этот миг её сомнения едва не добавил мне седых волос. Но она усмехнулась в ответ, хитро и радостно, подозрительным прищуром высматривая насколько случайна эта моя оплошность.

– До свидания, Джейсон Тейлор, – и расхохоталась коротко и звонко, наслаждаясь моим невольным удивлением.

Похоже, мы оба справились с «домашним заданием», и хоть я не знал, что кроме имени известно Мэрион обо мне, но уже одно то, что она мной интересовалась, было невероятно приятно.

И я счастливо добил свою скрытность:

– До свидания, Мэрион Энн Морган.

IV

Ветер посвистывал в металле, звякая, играя проволочным сплетением, забавлялся, бился в стальных сетях, словно этот забор мешал ему так же, как и мне. Я слушал эти ставшие привычными звуки, рассеянно изучал вертолёт, осторожно присматривавшиеся с высоты к лётному полю. Как огромные механические насекомые, они слетались к этому полотну асфальта, послушные инстинкту служения человеку. И сложно было представить, что девушка смогла приручить такую махину, укротить, поднять в воздух... Мечта и воля, слившиеся воедино.

Сам я никогда не любил летать – в самолётах меня мучило и укачивало, в вертолётах вечно было то слишком жарко, то слишком холодно, тряско и страшно. Да и постоянно казалось, что он непременно должен зацепиться за что-нибудь своим «хвостом». Потому я никак не мог понять этого восторженного стремления Мэрион в ту прозрачно-голубую глубину, бесконечно раскинувшуюся за горизонт. А она тосковала без неба, следила за малейшими изменениями его настроения, могла часами смотреть в эту бездну облаков, звёзд, ветра... Почему-то природа ошиблась или замешкалась и забыла выдать крылья этой смешливой девушке. Но изворотливая человеческая натура всё же умудрилась выдумать их, выстроить из стали и топлива, подчинить своей фантазии и отобрать у природы право всё на свете решать самой...

Мне нравилось наблюдать, как огромная туша вертолёта снижается, немного неловко, – словно боится обжечься, – прикасается шасси к земле. И лишь проверив, убедившись, что ничто ей не грозит, доверяется своим пилотам, плавно опускается, вздыхая и успокаиваясь. И лопасти, сливавшиеся в один сплошной, мутный круг, становятся всё различимей, мелькают реже, затихают, устав от полёта. А хозяйка этого послушного монстра выбирается из кабины, весело машет кому-нибудь, задорно и ребячливо, радуясь каким-то своим условно-боевым свершениям. И только после, похлопав по броне своё крылатое чудовище, она наконец-то победит ко мне, томящемуся за сеткой ограждения как заключённый...

Ждать её здесь, слушать ветер, вольно пробиравшийся за ограду, завидовать этой его разгульно-свободной дерзости стало моей привычкой. Он путался в травах, кружил в лопастях, скрашивая моё томление, ждал Мэрион вместе со мной. И первым сообщал мне о ней, счастливо бросаясь в лицо, тормозил волосы. Прошло немногим больше месяца, как мы с ним вот так подружились, затеяли эту почти ежедневную игру в преданность. А мне казалось, что уже очень давно – с самого детства – я прихожу сюда, к сетчатому заграждению, чтобы, подарив несколько минут своей жизни скуке ожидания, всё же дожидаться лениво ворочающий хвостом вертолёт, плещущий в лицо ветер нисходящего потока, увидеть Мэрион. И тогда я забывал про трудности службы, про мутный страх грядущей отправки – ведь девять с лишним недель это ещё так нескоро! Всё, что я знал в такие моменты, это то, что хочу ждать здесь каждый вечер, заражаться улыбкой этой девушки, видеть в её глазах благодарное удовольствие оттого, что есть человек, неизменно встречающий её на земле.

Именно здесь я так давно тосковал от своей нерешительности, томил своё помешавшееся сердце, наблюдал за Мэрион... Здесь я впервые «знакомил» с ней Расти, и он всё никак не мог сообразить, где Мэрион – третья слева или та, которая спорит с инструктором. А я, раздражаясь, объяснял и нервничал, не сразу заметив это его весёлое издевательство надо мной...

Я словно бы навязал сам себе эту добровольную повинность – быть здесь, слушать ветер и ждать. Но после того нашего первого разговора с Мэрион, едва не ввергнувшего мою душу в рыдающее малодушие, это моё преданное томление перестало быть чем-то односторонним, бесполезным и грустным...

Наверное, она даже не удивилась, приметив меня здесь, – заулыбалась издали, но ещё не мне, а какой-то своей милой застенчивости, смущаясь и от моего присутствия, и от самой

улыбки, и от невозможности эту улыбку скрыть. И я тоже вдруг засмеялся, ревниво подхватывая её улыбчивость, таившую для меня уже нечто большее, чем обыкновенное приветствие. Непостижимо просто, насколько заразительным было любое её веселье. С самого первого дня, с первой безмолвной встречи я сдавался этому оптимизму, снова и снова безропотно шёл на поводу радости, едва лишь видел Мэрион. Восхитительная власть, которой раболепно поклонялось моё сердце, поспешно и безмятежно, не оставляя разуму иной альтернативы.

– Вы совсем его измучили, – она кивнула на цветок, который я немилосердно крутил в пальцах, пытаясь отвлечь всполошившиеся от счастья нервы, вымещал на этой обречённой лилии своё смущение.

Краснея ещё больше от такой заметной, очевидной неловкости, я аккуратно продел стебель в проволочную ячейку ограждения, так неумолимо нас разделявшего.

– Да вот... спугнул вашего обожателя. Только этот цветок и успел конфисковать. А вообще был целый букет. Огромный. Честно...

Кажется, я начинал заикаться. Но Мэрион, спасая меня, тут же подхватила эту игривость.

– Жаль. Ну, когда встретите его ещё раз, передайте, чтобы больше не сбегал так, – как пленника, сумевшего прокрасться за стены своей темницы, она осторожно освободила цветок, расправила примявшиеся лепестки. – И скажите, чтобы в окна тоже не выпрыгивал. Я волновалась. Сколько там было? Метров пять?

Я чуть не попался на этот её коварный подвох уточнения. Прижав зубами своё едва не вырвавшееся «нет», я пожал плечами, засматривая в хитрые глаза Мэрион, старательно сдерживал улыбку. Уж чего-чего, а пяти метров там точно не было. Четыре от силы. Да и прыгнул я на какие-то ящики. Так что, как бы мне ни хотелось стать в один ряд с героями любовно-приключенческих романов, поголовно вываливающимися из окон от прекрасных дам, но героического в такой суетливой панике было мало. Сейчас я и сам уже не верил той недавней своей глупости и почти такому же невероятному везению. Умудриться незамеченным пробраться через полказармы – да тут любой диверсант позавидует! Но, как обычно и бывает, удача – та ещё шутница – бросила меня в самый неподходящий момент. И только моя не рассуждающая, выдрессированная реакция спасла меня от безотлагательного знакомства с Мэрион и, скорее всего, с военной полицией тоже. Шаловливая удачливость, натешившись этой издёвкой случая, снова вернулась ко мне, и я удрал как заяц, не успев даже вполне понять всю масштабность своего нахальства. Расти сделал это за меня.

– Феноменальная дурость, настоящая на сантиментах, – фыркнул он, совершенно не оценив мою непредсказуемую, бестолковую храбрость. – Где такой учат, не подскажешь?

Кажется, он немного злился на моё самовольное перекраивание его практически безупречного плана покорения дочери полковника-героя Николаса Моргана. И эта «диверсия в тылу врага» совсем не вписывалась в его выверенную до мелочей, скучную до зевоты схему действий.

– Но теперь она хотя бы знает, что ты из пехоты, – он всё-таки любезно выловил в своём назидательном бурчании мелкий, сомнительный плюс.

И больше подсказок не потребовалось. Умница Мэрион в два дня вычислила личность своего засекреченного поклонника, и, цепляясь за остатки романтической таинственности, я всё боялся спросить, как ей это удалось. Запомнилось ли ей моё улыбчивое, дурковатое замирание при первой встрече? Или же моё внимание к её жизни было скрыто всё же недостаточно умело? Как бы то ни было, хотя вся эта эпопея и могла закончиться для меня весьма плачевно, но победителей не судят. И сейчас, глядя на Мэрион, радуясь игривым словесным ребусам, ставшими нашим и только нашим кодом намёков и «оговорок», я был безмерно благодарен дерзкому, шальному, отважному чёрту, так ловко искусившему меня всей той авантюрой...

– Девять из десяти! – уже издалека весело завопила Мэрион, выставляя ладони с зажатым одним пальцем так, словно я был глухой или не смог бы понять, что такое девять и насколько близко это к десяти.

Она подбежала, запыхавшаяся от счастья, предъявляя мне в качестве доказательства свои по-детски растопыренные пальцы:

– Девять из десяти целей! Лучший результат звена за неделю!

Она запрыгала как маленькая, восторгаясь своему успеху, сразу немного смутилась этой гордости, и румянец тут же прокрался на её щёки.

– Молодец, Мэрион Энн Морган, – засмеялся я, любуясь и этим её восторгом, и гордостью из-за маленького учебного триумфа, и стеснительной неловкостью.

...Я жил этими встречами, задыхался, если почему-либо не мог увидеть Мэрион хоть один день, вынужден был смирить жажду своего чувства, подчиняясь приказам и безжалостному армейскому распорядку. Выкраивал эти крупницы личного счастья из потока тренировок, тестов, беготни оформления документов. Из страха и трусости, из почти истерического нежелания отправляться на войну именно сейчас. И когда я видел Мэрион, задорные, приветливые взмахи руки, уже издалека спешащие меня порадовать, я словно бы оттаивал от забот и трудностей, совсем забывая про невероятно, безбожно близкую отправку...

– Ну и как она восприняла? – старательно прячась за простым, бесхитростным участием, поинтересовался Расти.

Эта его дотошность, пытка любопытством, превращалась уже в какой-то ритуал, которым он развлекал себя. Как будто боялся или не хотел отпустить меня и Мэрион на произвол изобретательной судьбы, оспаривал право контролировать этот эксперимент романтизма и наглости, что мы так ловко устроили. И теперь он как-то очень уж увлёкся слезкой за моей любовью, донимал расспросами и советами. Может, потому, что всё ещё не мог поверить в мою удачу или оттого, что эти мои блуждания по свиданиям были в большей степени именно его заслугой. А может, просто утешал свою скуку ироничными наблюдениями за моей неизлечимой страстной лихорадкой, высматривая и собирая что-то новое для себя, что-то, чего всё ещё был лишён. Что бы там ни рождало эту дружескую слезку, только я всё чаще начинал уставать от его назойливого внимания к моей персоне.

– Никак не восприняла, – я нахмурился, нехотя возвращаясь в реальность из весёлого, улыбчивого мира своего счастья. – Я не сказал ещё...

– Ну и что на этот раз? – Расти всё агрессивней лез со своими указаниями. – Отправка через шесть недель. Долго ты это скрывать думаешь? Или считаешь, что лучше однажды просто исчезнуть? Напишешь ей письмо: «Прости, милая, меня тут случайно на край света унесло»?

Он был прав. А я злился. Моя угрюмость не прощала ему этих насильственных возвратов в действительность, этой рассудительной, убийственной правоты. Я уже давно должен был сказать Мэрион, вернуть ей это право самой решить *тратить или нет* на меня своё время сейчас, чтобы после терпеть разлуку и ждать целый год... И наверное, для Расти это было лишь обязательной вежливостью, простой честностью простых отношений. Наверное, ему бы это далось легко. Но вот именно это самое «или» и застревало у меня в горле, когда я подыскивал слова признания, готовился в секунду разрушить непринуждённую, беззаботную весёлость наших встреч, пожертвовать ею, может быть, навсегда... Ведь значила бы эта откровенность, что все цветы, поцелуи, счастье свиданий, сама Мэрион были лишь баловством, способом временно удрать от тревог будущего, развлечь себя ловким, кратким флиртом.

Я всё пытался представить себе, *что* услышит в этих словах Мэрион. И не мог. Я всё ещё недостаточно хорошо знал её – её душу и реакции сердца, – а потому решал за неё как за себя, безотчётно хватаясь за это своё восприятие как за единственно верное. И на месте Мэрион я никак по-другому и не пожелал бы объяснить себе эту упрямую, казалось, совсем ненужную

скрытность. И чем дальше, тем плотнее обвивала меня эта почти ложь – улыбаться и молчать, позволяя самому себе забыться. Травила мою совесть, ведь теперь пришлось бы оправдать ещё и давность моей нерешительности...

Но *когда* я мог рассказать?!

Когда она с лукавым блеском в глазах всё надеялась увлечь меня чарующим чувством полёта, навязать это рукотворное чудо ощущений, манящий зов ветра? Когда, задыхаясь от торопливых, ярких впечатлений, рассказывала о тонкостях управления, забрасывала меня терминами, а я смешно путался, не в силах понимать что-либо, кроме радости быть с Мэрион? Когда же именно судьба пыталась оказать услугу моей стыдливой, замирающей в груди честности? Тогда ли, когда, нежно обнимая меня за шею, Мэрион прикасалась дыханием к моим губам? Осторожно, едва осязаемо... И я, не вытерпев этого ласкового, возбуждающего истязания, обхватывал её руками, притягивал к себе. Она тихо смеялась. Балансируя между шалостью и страстью, отклонялась, гибко избегая моей пылкости. А когда мне всё же удавалось поцеловать её, смеялась звонко и оглушительно. И сам я тут же подхватывал эту радость, смеялся вслед за ней, сам не понимая, чему же, собственно, смеюсь, и что такого забавного может найтись в обыкновенном поцелуе. И всё это получалось как-то весело, легко, хоть и было мне немного неловко, оттого, что я никак не мог разгадать причин её смешливости, а она не хотела мне их объяснить. Отсмеявшись, она иногда брала моё лицо в плен своих тёплых ладоней, смотрела внимательно и бесконечно долго мне в глаза, словно вчитываясь в мою восторженную, распахнутую счастьем душу...

Когда я мог рассказать? *Как* мог добровольно променять эти бесценные, восхитительные мгновения на объяснения, тоску неизбежных упреков, быть может, даже ссору и расставание?

...И каждый раз, выслушивая от Расти эти неимоверно унылые наставления, я тихо бесился. Заранее оплакивал что-то зыбкое, хрупкое, чего неизбежно лишусь, едва только откроюсь Мэрион. И каждый раз я всё-таки собирал рассыпавшееся самообладание, выдавал его своей совести и шёл на свидание, тащил в себе этот груз, с робкой надеждой не покалечить никого из нас ни этой откровенностью, ни давней скрытностью, ни неизбежностью расставания. И каждый раз, увидев Мэрион, её улыбку, я бросал эту грубую решимость, прятал до завтра, до «когда-нибудь», рассчитывая, что, возможно, моя непредсказуемая удачливость снова выручит меня. Что отправку перенесут или отменят вовсе, что никогда так и не придётся похоронить хорошее настроение наших встреч...

Но случай порой бывает невероятно, беззастенчиво жесток... Отправку всё же перенесли.

V

– Как через неделю?! – я боялся, не желал верить услышанному. – Это же почти на месяц раньше...

– Это армия, брат, – Расти не то сочувствовал, не то воспитывал мою отставшую от реальности сознательность.

Но я даже не услышал его слов. Словно заблудившись в ночном кошмаре, я всё надеялся, что вот сейчас, через секунду и откроется, что это ошибка, глупое недоразумение... Ведь ничего хуже, казалось, не могло и случиться с моей жизнью.

– Может, ты перепутал? – заведомо бесполезно зачем-то спросил я.

Расти равнодушно пожал плечами.

– Может, и перепутал, – холодно сказал он, хотя мы оба знали, что это ложь, что ему попросту надоели мои неменяемые упования на любые фантастические подарки судьбы. И мне эти истерические мечты надоели не меньше, но я почему-то всё никак не мог заставить своё сердце не цепляться за эти грубые подделки надежды. И даже когда объявили официально, я всё ещё минуту ждал какого-то чуда, верил во что-то совершенно несбыточное, одновременно утешаясь и слабея от этой неуправляемой веры.

«Я больше никогда не увижу Мэрион», – вдруг подумалось мне тогда. И я испугался даже не самой этой ужасающей мысли, а того рокового значения, с которым прозвучали эти слова в моей душе. Словно кто-то безжалостный и жестокий, кормящийся моими страхами, нашептал их мне и бросил травиться горечью...

Снова армейский, сплочённый в бесчувственности, строгий и беспощадный мир отбирал у меня то, что я едва успел прижать к сердцу. Точно этот закованный в устав монстр с самого начала вознамерился ревниво вырывать из рук всё, что было мне дорого, и что я напрасно пытался спрятать от его алчности в своей душе. И снова мне не оставляли иного выбора, кроме сосредоточенной, стойкой покорности. Моё везение опять где-то потерялось, отвлеклось и забыло про меня. Как вечно сбегающая собака-поводырь, оно будто издевалось надо мной, верное каким-то демонам, что дёргали за поводок, казнили меня моей же беспомощностью.

– Скажешь ей, когда вернётся. Не вечно же она отдыхать будет, – видимо, надумал утешить моё уныние Расти.

Но от этого его милосердия мне стало только хуже.

– Не скажу, – нервно отмахнулся я от стараний его сочувствия. – Не успею. У неё увольнение до 8-го.

Расти вежливо вздохнул. И эти его беспомощные вздохи задевали меня как-то неосознанно и болезненно, едва ли не до слёз. Я почти не прощал ему эту весть, эту командировку. Словно не было кого-то виновней, чем он, во всех моих ошибках, всех этих жестоких случайностях, непредсказуемой лотерее командирских решений и мучении моих нервов.

– Значит, по телефону всё объяснишь. Перед отправкой дадут выходной – как раз успеете наболтаться на год вперёд, – деловито подытожил Расти.

Не выдержав ещё и его команд моей судьбе, этого не сомневающегося знания как, что и когда надо делать, я вспылел, как-то мгновенно и сильно раздражаясь от этих неосторожных прикосновений к моей тоске:

– Перед отправкой «дадут» стрельбы и двое суток беготни по лесу в условиях, приближённых к боевым! А не пакет романтики с рюшами, как ты тут расписал! Так что оставь свои советы себе, авось пригодятся когда-нибудь.

– Да ну тебя, Тейлор, – вяло отфутболил мои нападки Расти. – Всегда был психованным, а теперь с тобой вообще разговаривать невозможно. Истеришь по любому поводу как придавленная кошка... Можно вообразить, это я во всём виноват.

Передумав тратить нервы на его наскучившее бурчание, я угрюмо промолчал. Безмерно уставая от лихорадочных переживаний, от тёмной, давящей ненависти к армии, к выверенному по минутам распорядку, никак не оставлявшему человеческой недалёковидности право на промах, сурово отсекавшему всё тёплое и трепетное, – ненужное, нерациональное, – я злился на себя за собственную слабость, тупую нерешительность. За детскую веру, что всё образуется само собой, что, так любезно одарив меня вниманием Мэрион, моя удача просто не сможет пройти мимо такой любви...

Но всю мою удачливость размолотило в построениях и стрельбе, в напряжённом графике тренировок, судорожно перекраиваемом командованием. В стандартные земные сутки пытались втиснуть занятия и прививки, дополнительные тренинги и зачёты, ориентирования на местности, марш-броски и бесчисленное множество псевдо боевых задач. Двадцать два дня спрессовали в 160 часов, утрамбовали, кое-как подогнали друг к другу и выдали нашей выносливости. Взмыленные сержанты сбивались с ног, и всё равно каждый день были какие-то нестыковки, жадно пожиравшие наше время и нервы. Мы носились как на пожаре, аврально докупали необходимое и обязательное, суетились и бегали, так что вовсе уже переставали понимать, чего от нас хотят, и ради каких благих целей мы вообще здесь собрались.

– Тейлор! Что с оружием? Автомат наизготовку! – сержант рявкнул мне в ухо, и, спохватившись, соизволив заметить, что дуло моей винтовки уныло уставлено куда-то мне под ноги, я немедленно выправил эту оплошность.

Но моя задумчивая рассеянность не прошла для отряда даром.

– Идём дополнительно километр, – почти весело объявил МавроДжордж.

– Ай молодец! – тут же съязвил Расти в мой адрес.

– Два километра, – не остался в долгу МавроДжордж.

Больше никто высказаться не пожелал, и дальше мы бродили молча. Безумно хотелось спать. А однообразие этого лабиринта из брёвен и стен никак не способно было разогнать скуку. Эти «прогулки» должны были символизировать патрулирование узких, жарких улиц чужих и опасных городов, но больше походили на бестолковые ребяческие забавы, когда уже всем смертельно надоело играть, но никто не хочет в этом признаться, чтоб не прослыть занудой или слабаком. И один лишь сержант, похоже, действительно наслаждался этим топтанием на свежем воздухе. Из всей нашей роты он был, пожалуй, единственным, кого не только не тревожила перспектива путешествия за океан, но кто откровенно радовался грядущей отпавке, нетерпеливо ждал её, заполняя это деятельное ожидание покрикиваниями на нас. Всячески подгоняя время, он тратил его в бесконечности инструктажей и тренировок. И моё время уходило вслед за ним...

Наверное, потому я неумолимо мрачнел, наблюдая его веселье, весь этот непоседливый оптимизм «закалённого в боях». Он сам вызвался ехать, и я никак не мог представить, что кто-то может рваться в те знойные, окропленные войной пески так исступленно, добровольно обменять мирную, удобную жизнь на лишения и риск. А он, видимо, точно так же не желал понимать, как можно не мечтать пожертвовать некоторое количество своей доблести на благо чужих, неинтересных, глобально-государственных проблем.

Свою кличку он заработал ещё в первую командировку. МавроДжорджем его прозвали местные, и это прозвище так и приклеилось, как и всякая удачно придуманная, цепкая характеристика. Официально его звали сержант Джордж Луни, но свою фамилию он почему-то не любил и сам предпочитал, чтобы называли его МавроДжордж. Потому первое время я думал, что Мавро – это и есть фамилия, и что наш сержант настолько увяз в рапортах и уставных условностях, что даже во сне выкрикивает полное имя и звание, козыряя подушке.

Но за пределами служебных обязанностей он оказался неожиданно общительным, ослепительно-улыбчивым весельчаком, любил глупые, нелепые выходки и радовался им востор-

женно, как ребёнок. Особенно доставалось от него вновь прибывшим и будущим отцам. Едва узнав, что в чьём-то семействе ожидается пополнение, он тут же начинал общаться с «молодым родителем» назидательно и строго, утомляя слышанным где-то, подобранным в архив памяти опытом. Мог читать эти лекции минут по 20 без запинки, истязая бедную жертву при каждом свободном мгновении. И вот когда виновник этой словоохотливости, давясь зевотой, готов был уже подать в отставку, лишь бы удрать, МавроДжордж веско заключал свои наставления вопросом:

– А ты знаешь, что главное для ребёнка?

И лишь только бедняга легкомысленно пытался промямлить какой-то ответ, как с криком: «Правильно, купание!» МавроДжордж окатывал его ведром воды, и мокрый виновник торжества на пару дней объявлялся объектом беззлобных шуток и розыгрышей. Поговаривали, что попадались этой шальной забаве даже офицеры, но я этому мало верил – всё-таки с трудом представлялось, как сержант перекидывает ведро на какого-нибудь подполковника. Вот помпезно преподнести это самое ведро воды в качестве шутивого подарка наш сержант вполне мог сподобиться хоть генералу.

Мне с самого начала показалось удачным, что, пусть и не всегда к месту, но непосредственный командир будет нам больше другом, чем строгим, бездушным болваном, требующим лишь беспрекословного подчинения. Тем более что эта его командировка была уже третьей, и он активно подбадривал каждого из нас, новичков, старательно пытаясь разогнать чувство безысходности и невольного, тщательно скрываемого страха.

– Вот увидишь, там здорово, – твердил он, хотя и не хотел объяснить, в чём же именно это «здорово» заключается, шутя увиливал от любой конкретики.

Как и все они – те, кто ехал туда не впервые. Но только у МавроДжорджа этот оптимизм не прятал за собой едва заметную тоскливую тревогу. И я всё не мог до конца объяснить себе такое неподдельное, ненормально-вдохновенное рвение, всё ждал какого-то подвоха. Вроде того, что его в последний момент переведут или непустят, и мы улетим в тот «развесёлый» мир войны без него. Но оказалось, что стремится он туда не воевать и не дышать песком. Просто его жена служила там уже почти два года, и он, как пряткий любовник, не мог дожидаться бесценного свидания.

Раньше я бы, пожалуй, и не понял, посчитал бы глупым и безрассудным это желание ради редких, кратких встреч сунуться с головой в какое-нибудь пекло вооружённых конфликтов. Но Мэрион научила меня таким порывам. И я точно так же готов был лезть под трибунал ради минутной встречи с ней, ради пары слов и нескольких мимолётных прикосновений...

– Далеко это ты собрался?

Расти объявился на пороге удивительно некстати, словно поджидал, где-то затаившись, именно этого момента.

– Надо, – буркнул я, спешно заталкивая вещи в рюкзак.

Я знал, что времени упаковаться до отправки у меня больше не будет, а потому боялся отвлечься на Расти и упустить какую-нибудь важную мелочь, забыть какое-то необходимое барахло. Привалившись к косяку, Расти молча следил за моей беготнёй, утомительно-сосредоточенно, раздражая мою взбудораженную нервозность ещё больше. Это его тошное любопытство никак и ничем мне не помогало, а лишь отвлекало и без того замученное сознание.

– Ты понимаешь, что это самоволка? – совсем неожиданно тихо спросил он. И прозвучало это тяжело и как-то неимоверно трагично.

– Нет, не самоволка, – заупрямился я, пугаясь этого вердикта и тут же обижаясь на Расти, нарочно разбудившего мою тревожность.

– Ну да, чего уж там обращать внимание на какие-то нелепые детали бытия. Присяга, устав. Подумаешь, ерунда! Ведь у него тут гормоны раскалились – аж в темноте светятся.

Он прошёлся по комнате. И эта его «прогулка», унылое сопение за моей спиной вдруг сильно меня разозлили.

– Хочешь помочь? Просто не мешай, – я хмуро отодвинул его в сторону.

Он нерешительно потоптался и отошёл к двери, этому последнему и самому надёжному рубежу обороны от безумных решений моего порывистого, вдохновенного темперамента.

– Не глупи, Тейлор. Никуда твоя Мэрион не денется. Сам рассуди, зачем тебе трибунал?

Почему-то Расти считал, что страшнее трибунала я для себя ничего не представляю, а потому именно это веское слово и переубедит меня в один момент. И он всё пугал меня им, торговался с моей совестью, лез со своими увещеваниями. Но лишь потому, что крики и ссоры требуют немало времени, я ещё не взбесился. Из последних сил удерживая молчаливый оплот упрямства, я наконец-то утрамбовал всю дребедень и затянул узел. Распухший, сытый вещмешок, словно сожравший привычную доселе повседневность, довольно вобрал в себя всю весёлую суматоху прежней жизни, и теперь, как некий суровый символ путешествия в боевой ад, лишал остатка малодушных иллюзий. А так хотелось проснуться, вздохнуть спокойно, радуясь тому, что вся эта драма безысходности – не более чем сон.

Но мечтам всё так же не находилось места в реальной, раздёрганной приказами жизни, и Расти всё так же строго торчал «на посту», сторожа мою сознательность. На ходу растыкивая по карманам документы и деньги, я вознамерился было проигнорировать эту его монументальную угрюмость, но, как и следовало ожидать, он не позволил мне улизнуть вот так запросто. Как неумолимый стражник, он даже не сдвинулся с места, не давая мне пройти, видимо, решив простоять в дверях пусть и всю ночь, но всё же оградить меня от моей же глупости.

– Прекрати, Расти! – теряя терпение, я тщетно пытался пройти. – Я не сбегу, пойми ты это. 32 часа. Я успею. Должен успеть...

Но Расти раздражённо перебил, беззастенчиво воруя моё время, скармливая его этим ненужным перепалкам.

– Да, Тейлор, всё это я уже слышал. Что ты не дезертир, что всё рассчитал и везде успешь. Автобус там, попутка сям... Но ты только посмотри на себя! – он вдруг грубо схватил меня, потащил к зеркалу точно нашкодившего ребёнка. – Ты же сейчас как наркоман, который за дозу готов на что угодно. Да каким психом надо быть, чтобы согласиться тебя подвезти куда-то?!

Я глянул на своё отражение. Бледный, с истерическими искрами в глазах, не спавший уже больше двух суток и не собирающийся спать в ближайшие, я и впрямь производил впечатление больного, сдвинувшегося на какой-то навязчивой идее человека. Но инерция последних дней – всей этой ошеломительной финальной подготовительной суеты, – маниакальная решимость стремления к Мэрион никак не отпускали меня, держали в тисках какого-то дрожащего напряжения. И эта тряска – нервная, неукротимая – будто бы не позволяла остановиться хоть на секунду, отдохнуть или уснуть, и поддерживала всю эту ненормальную бодрость непрерывной, лихорадочной беготнёй.

Уже не скрывая злости, я выдрал свою руку из его хватки.

– Расти, ты не понимаешь, – я почти готов был его покусать, загрызть всю его неуёмную, воспитательную строгость. – *Я ей обещал!*

Я выкрикнул этот последний аргумент отчаявшегося терпения, словно это «обещал» и было единственной причиной наших споров. Словно дело было вовсе не во времени, не во мне или уставе, а именно в этом обещании. Но Расти не сдался.

– Обещал что? – с холодной решимостью он смотрел мне в глаза. – Что сорвёшься как чокнутый, загремишь под трибунал? Ей *это* нужно?

– Я обещал, что приеду, – беспомощно я всё пытался найти слова убеждения.

Но Расти ничего не желал слушать. Уставший и дёрганный после пятидесяти часов условно-боевых заданий он теперь злился, что я держу его совесть, что не хочу успокоиться и отпустить его нервы безопасно выспаться.

– Мне плевать, Тейлор! Ты не успеешь в срок, и мы оба это знаем! И я не позволю тебе угробить всё из-за какой-то там Мэрион, – он уже почти кричал, надеялся этими воплями донести что-то до моего сознания, угоревшего от бессонницы и томления влюблённого сердца. – Она *знает*, что такое отправка, *знает*, что сроки переносятся туда-сюда, и *знает*, что такое приказ! В отличие от тебя!

Я взбесился. Даже не из-за Расти, а из-за какого-то своего собственного робкого, но упрямого понимания, что он прав. Что армия и такие вот эмоциональные порывы никак не совместимы...

– И что, Расти?! – не в силах сдержать свою ярость оттого, что он посмел обвинять меня от имени Мэрион, я толкнул его от двери. Вконец озверев, пинал эту опостылевшую назидательность: – Даже если и трибунал, то что?! Расстреляют? Да и какая разница, где сдохнуть – здесь сейчас или там чуть позже?!..

– Это кому тут так под трибунал не терпится?

Мы оба резко обернулись на этот насмешливый голос. МавроДжордж улыбочиво наблюдал за нашей словесной потасовкой и заметно ею развлекался. Как по сигналу я заткнулся, следуя давно заведённой привычке мгновенно умолкнуть при любом неожиданно объявившемся постороннем.

– Кого расстреливать собрались и за что?

Не добившись показаний от меня, МавроДжордж ещё шире растянул в улыбке пухлое лицо и перевёл взгляд на Расти, не зная, что именно от Расти я и перенял этот полезный и уже автоматический инстинкт молчаливости. И он точно так же хмуро сопел, ещё от Вегаса усвоив, что лучше помолчать пять минут, чем после часами отбиваться на допросах. Но банда, Вегас и дотошные копы давно остались тускнеть где-то в памяти. МавроДжордж, несмотря на всю свою дружелюбную смешливость, всё же был нам командиром, и я не решился затягивать с ответом, рискуя взысканием или нарядом так не вовремя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.